



Андрей Милов



*Когда ещё не столь
ярко сверкала
Венера*



18+

Андрей Милов

**Когда ещё не столь
ярко сверкала Венера**

«Автор»

2018

Милов А.

Когда ещё не столь ярко сверкала Венера / А. Милов — «Автор»,
2018

ISBN 978-5-532-10987-2

Вторая половина XX века. Главный герой – один... в трёх лицах, и каждую свою жизнь он безуспешно пытается прожить заново. Текст писан мазками, местами веет от импрессионизма живописным духом. Язык не прост, но лёгок, эстетичен, местами поэтичен. Недетская книга. Редкие пикантные сцены далеки от пошлости, вытекают из сюжета. В книге есть всё, что вызывает интерес у современного читателя. Далёкое от избитых литературных маршрутов путешествие по страницам этой нетривиальной книги увлекает разнообразием сюжетных линий, озадачивает неожиданными поворотами событий, не оставляет равнодушным к судьбам героев и заставляет задуматься о жизни.

ISBN 978-5-532-10987-2

© Милов А., 2018

© Автор, 2018

Содержание

На пороге повести	6
Рванный рубль	12
Тоска	34
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Не латинским языком, не греческим, не еврейским, не же иным каким ищет от нас говоры господь, но любви с прочими добродетелями хочет; того ради я и небрежу о красноречи, и не унижаю своего языка русского, но простите же меня грешного, а вас всех рабов Христовых бог простит и благословит.

Протопоп Аввакум

На пороге повести Без лица

Надо быть подло влюблённым в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут... Если я вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной... то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражён всем свершившимся... С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись без описания чувств и размышлений (быть может, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринятое единственно для себя. Размышления же могут быть очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, — очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд... К делу, хотя ничего нет мудрёнее, как приступить к какому-нибудь делу, — быть может, даже ко всякому делу.

Ф.М. Достоевский. Подросток

Извилистая лента двухрядной узкой дороги, с разделительной сплошной полосой, сначала долго карабкалась в гору, вынуждая терпеливо волочиться вслед за какой-нибудь доходягой «Волгой», затем с ветерком увлекла с горы, чтобы тут же, завязав очередную петлю своего пути, ввинтиться в ещё более крутой подъём. По обеим сторонам дороги — то тут то там, то вверху то внизу — в отдалении были разбросаны безымянные новосёлки. Изредка асфальтное серое полотно надвое рассекало небольшую деревеньку. Они-то, эти деревеньки, да к тому ещё ручьи-речушки, своими привычными для нашего глаза и уха названиями ненавязчиво подсказывали, что ты не в Альпах, не на Пиренеях, даже не в Крыму или на Кавказе, а, несмотря на серпантин горной по всем признакам дороги, на великой русской равнине, где вдруг причудливым образом смешалось всё: и природа, и нравы, и стили, и даже времена — старые и новые.

Вот в приоткрытое окно пахнуло печным дымком, повеяло горелой листвой от костра, и впереди за поворотом, пестря красными и зелёными крышами, щерясь башенками, эркерами, фронтонами, трубами да сплошными заборами, оградившими от мира пяди земли с небезыскусно возведёнными на них постройками, на взгорье показалось село. В строительных лесах полуразрушенный купол церкви, какие-то вековые развалины за ней — то ли колоколенки, то ли часовенки. Село располагалось на самой вершине самого высокого из всех окрестных холмов, с которого открывался вид на бесконечные холмистые дали — в багряных и в жёлто-зелёных заплатах осени побуревшие леса да проплешины пожухлых лугов среди них.

На росстани, изогнувшись, главная дорога круто приняла влево и по дуге чуть назад, чтобы, пробежав по пологому равнинному склону с десятков километров, своим обратным концом вернуться к шумному шоссе, — вправо загогулиной шмыгнула лента неровного асфальта, сузившаяся до одного единственного ряда в обе стороны и местами едва не растворяющаяся в широких суглинистых обочинах. Будто по волнам и порогам, подобно горному ручью, она стремительно увлекла вниз, в овраг, к сырому подножью. Оскалившись на прощанье щербатой ухмылкой серых замшелых кровель да покосившейся на склоне оврага изгороди, село на задворках кончалось заброшенной фермой, уткнувшейся в песчаный карьер.

Вскоре за карьером асфальт неожиданно заместился булыжником. Веками тёртая, скоблёная гладь булыжной мостовой — тем не менее тряская и шумная — неизменно вела под уклон. Один за другим замелькали дорожные знаки: «Кроме грузового транспорта», «Проезда нет», «Тупик» и наконец: «Лес — наше богатство», с изображением перечёркнутой горящей спички. Могучие ели всё теснее жались к каменному полотну, в приветствии покачивая мохнатыми

лапами. При взгляде назад уж не видать за вершиной холма ни села, ни солнца, да и сама, кажется, цивилизация отступила за хмурый горизонт.

Меж пойм двух своенравных речушек, отнюдь не замерзающих в стужу и студёных в знойную пору, по самому водоразделу на многие безлюдные вёрсты в глубь лесов пролегла гряда более или менее высоких холмов. Зарядят, случись, обложные дожди, не говоря уж о вешних водах, и бесчисленные болотистые старицы разольются из низин, побегут щупальцами проток навстречу друг другу, сплетаясь в непроходимую сеть болот и озёр; вслед за тем выйдут из своих берегов ручьи и речушки, заполняя овраги мутными водами, и уже, глядишь, в сплошном безбрежном море островами торчат сами холмы. Там, где вчера была тропа, сегодня ручей бежит, где луг – там болото; впрочем, стоит лишь чуток задержаться в зените ясному солнышку или ударить морозцу, как земля жадно впитает в себя воды, просыхая прямо на глазах.

На тормозах машина спустилась к мосточку через ручей (повеяло сыростью и гнилью), перекатилась через ребристую горбатую стлань, – и тут-то вдруг узкое полотно словно саблей вспоролو набежавшего холма вспученное брюхо... чем выше, тем глубже и тем круче пролегла змейкой-закорюкой булыжная мостовая.

Натужно ревя, как будто бы в недоумении, чего от неё хотят, машина с огромным трудом входила в роль верхолаза. Казалось, отвесные склоны земляного ущелья вот-вот сомкнутся вверху лесным дремучим сводом, образуя лаз для неслучайного в этих местах путника. Прямо в лобовое стекло уставились сизые с краснинкой осенние облака... Ещё одно усилие, и закатное холодное солнце, прорвавшись некстати сквозь сплошную пелену облаков и чашу леса, ударило сзади сразу во все зеркала и ослепило. И узкая крутая дорога, и низкое хмурое небо, внезапно прохудившееся на северо-западе, и лесистые холмы окрест, и припустившая машина со всем тем, что в ней, – враз всё стало на свои привычные места. Врезавши гору от подошвы до самой макушки, дорога тут же, на перевале, и сама вышла, исчерпавшись.

Впереди – ржавый «кирпич», за ним – обрыв и извилистая тропинка вниз, за обрывом – другой холм, и дальше сплошь бескрайние безлюдные дали. Тупик, конец дороге, а с ним, кажется, и самый край света.

Здесь-то, на перевале, как этакий пуп земли, и укрылась от чужих глаз деревушка с чудным названием Курёха. Деревушка, собственно говоря, никакая не деревушка, а бывший барский дом с дюжиной хозяйственных и иных построек, обжитых и в разные годы обустроенных пришлыми самосёлами на современный им лад. Из полутора десятка дворов лишь только в двух – трёх, не более, ещё обитают те, кто именует себя старожилами.

К зиме здешняя жизнь, очевидно, и вовсе замрёт.

Машина подкатила к некогда помещичьей усадьбе – добротному, хотя и почерневшему изрядно от времени бревенчатому двухэтажному срубу с двумя флигельками, чудом уцелевшему в кутерьме немилосердного для его бывлых хозяев лихолетья. Завидя остановившуюся у дома машину, от завалинки к калитке вслед за рыжим лохматым псом засеменила с виду вроде как деревенская девочка. Ростом с пятиклассницу, в сером пальтишке на вырост; шерстяной вязаный платок мышинного оттенка покрывает голову, укутывает шею и накрест заплёсывает туловище поверх пальто; на ногах бурки с калошами. Щёки покраснелись, изо рта пар валит, и она выговаривает бойко на старый, забытый лад, точно бы округляя и при том отделяя в своей живой речи один чистый напевный звук от другого:

– Здравствуй-здравствуй, милай. Я оно говорю себе: где ж то, онодысь, запропастился? Чай не захворал? Не случилось ли чего лихого?

Не деревенская, однако, девочка – то бабка Настёна вышла навстречу. Ей уж далеко за 80. А точнее никто не знает. Даже сама не ведает. И все лета свои, говорит, здесь, в барском доме, так и прожила, всех хозяев, всех властей пережила, всё больше ржаным хлебушком из печи,

да козым молочком, да ягодой лесной питаюсь, свежим воздухом дыша, ключевую водицу попивая.

– Да погоди ж ты, экой бестолковой! – бранит она большого рыжего пса дворовой породы, что, дербя когтями запертую калитку, рвётся напролом, и за ухо, за ухо оттаскивает его. – Коли сломаешь, кто ладить-то буде, а?! Ты, что ль, Чубайс, окаянный?! Такой-рассякой!

Наконец с радостным лаем Рыжий вырывается за калитку и с разгону целит обеими лапами в грудь.

– Не балуй, Рыжий. Будет тебе! Дай потолковать.

Между тем бабка Настёна ведаёт свои нехитрые деревенские новости, перекидывается словом о погоде, о здоровье. Прибирает гостинцы, и особо радуется мешочку семечек подсолнуховых: любимая забава – кормить с ладошки птичек, слетающих со всех сторон на зов к протянутой руке.

Рыжий опрометью несётся к машине и через распахнутую перед ним дверцу запрыгивает на заднее сидение – оттуда, уже свысока, нетерпеливо поглядывает, помахивая хвостом да повизгивая от нетерпения: ну что там, дескать, мешкаешь, скоро ли?!

– Ох, и озорник! Ох, и шкода! – провожает бабка Настёна баловня Чубайса, и качает головой во след отъезжающей машине: – С богом! – шепчет про себя.

Пылит машина всеми своими шипованными колёсами по грунтовке, выходящей через луг наискосок от деревни к лесному мысу. Бывшее некогда барским пастбищем, затем крестьянским выкосом и наконец колхозной пустошью, выпуклой плешью среди лесов и пролесков раскинулось наполье в десять десятин. Вдали – пруд, бог весть каким чудом хранящий в берегах мутные воды. За прудом, ближе к поросшему ольхой яру, – в полтора этажа свежий бревенчатый сруб на четыре фронтона, увенчанный крестообразной металлической крышей.

За оврагом начинается лесничество, дальше охотничьи угодья и ни единой дороги, если не считать тропинок в лесу да узкоколейки в трёх вёрстах отсюда, да и ту разобрали, говорят местные, ещё до войны.

Над полем сокол кружит – кружит и кричит высоким протяжным тревожным посвистом. Вдали, в кронах вековых дерев, ворон каркает.

В просторном, на полдома зале было сумрачно и пока что зябко. В камине потрескивают дубовые поленья, источая вокруг жар от огня; там же, в топке, на закопчённом вертеле томится сочный кусок мяса размером с дюжий кулак. На журнальном столике – бокал, наполненный густым чёрным вином, с бардовыми переливами в отсветах пламени; подле стола – кресло-качалка, табачный дымок струйкой выёсся от жерла трубки в сторону камина.

Наевшись от пуза овсянки с тушёнкой, Рыжий, или Чубайс, как прозвала псину бабка Настёна, развалился на циновке, в ногах, и покряхтывает вблизи огня от сытости да неги. Полу дремлет, прядая драным ухом:

– Жизнь что дорога. Сам рассуди. То шершавая – стружку так и стёсывает. То вся в колдобинах и рытвинах – шагу не ступишь, чтоб шишку не набить. А то она гладкая, того и гляди – поскользнёшься...

От смущения ли, чувствуя ли за собой какую вину, шельмец прикрыл глаза лапой, носом поглубже зарываясь себе подмышку, а сам тайком внемлет словам:

– И то правда: у камина на полное брюхо беспечно внимать сытым рассуждениям о превратностях бытия – это тебе не у бабки Настёны под крыльцом дневать да ночевать в ожидании миски с подкисшим супом.

На вертеле, на открытом огне, курится – такой душистый! такой сочный! – кусище мяса. Пёс и носом не ведёт. Хоть бы хны.

– Не бывает прямоезжих, как нет дорог бесконечных. Сколько ни вейся, сколько ни длись, а конец всегда один: тупик либо бездорожье.

Лишь только краем глаза заприметив, как протянули к нему руку, чтобы потрепать по толстому лоснящемуся загривку, Рыжий в мгновение ока перевернулся вверх тормашками. Изогнувшись носом к хвосту и раскидав в стороны полусогнутые лапы, пёс подставил под ладонь своё брюшко: на, дескать, чеши, – и закричал, хитрющая бестия, от удовольствия.

– Большущий, видать, зигзаг выдался на твоём пути. Вот родился и живёшь не горюючи при мамкиной сиське – это одна страница судьбы; а как сгинула где-то в ночи мамка, как закружила по промёрзлой земле позёмка да подвело от холода и голода брюхо – о-о, это совсем другой удел! Между этими вехами, значит, был зигзаг... Выжил? Что ж, посчастливилось, видать. Но ведь бог весть сколько поворотов ещё предстоит тебе пережить, прежде чем твоя дорога заведёт тебя в тупик.

Одним движением языка Рыжий слизнул с пола жилистую подгоревшую краюху мяса, что сунули ему под самый нос, причём не удосужившись даже головы поднять. Проглотил – вздохнул, прислушиваясь сквозь дрему, о чём там ветер завывает за окном.

– Так о чём, бишь, толковали битый час? Ах, ну да! Об этапах великого пути... и зигзагах земной юдоли.

В камине треснуло, заискрило.

Отблески пламени тенями играли в сумрачном зале. За чёрным окном сгустилась непроглядная темень наступающей ночи, – по всем признакам, последней в этой уходящей осени и первой в этой грядущей зиме.

Иногда действительно может представиться, будто бы на всём белом свете нет ничего прелестнее именно таких вот тихих, просветлённых вечеров, которые почему-то непременно проводишь у изрешечённого дождём ли, расписанного ли морозом, или просто чёрного, непроглядного оконного стекла. Свет погашен. В камине постреливают дрова, дрожит огонь. Кажется, все невзгоды задремали, уступив печальной, унылой мелодии: в завываниях ветра чудится незнакомый дотоле напев. То, может статься, домовой, вылезши из-под плинтуса в тёмном углу, крадётся за твоей спиной и мурлычет себе под нос незлое заклинание. Но ты стоишь у окна не озираясь, ибо знаешь, что всё это просто блики, игра теней и воображения, шум ветра, горстями швыряющего снег ли, дождь ли в оконное стекло, да потрескивание догорающих углей в камине.

В жизни, думаешь, всякое бывает: угнетён ли, опечален, или просто не в духе, – и тогда не к случаю увиденное и услышанное помнишь безотчётно долго. Причудливо сплетаясь, тогдашнее настроение и нехоти вошедший в тебя образ могут придать душе совершенно нечаянное движение, – нечто пока ещё весьма и весьма смутное. И вот уж тебя помалу томит, затем и вовсе одолевает навязчивая идея – нет-нет, не небыль, а нечто эфемерное и неизъяснимое, что как-то незаметно уже в тебе самом и чем ты дорожишь.

Долго ли, коротко ли простоишь так, задумавшись, у окна – кто знает?! Чтобы очнуться от грёз наяву и стряхнуть с себя очарование впадающей в зимнюю спячку природы, отступишь от окна и, подойдя к догорающему камину, подбросишь из дровницы поленьев на раскалённые угли. Сядешь в кресло-качалку у распяляющегося ярким пламенем камина, раскуришь трубку и, раскачиваясь, поведёшь рассказ с оговорками:

– Не жди ты рассказа ни гладкого и ни ровного, ни смешного и ни забавного. Не шут тебе. Ни исповедоваться, ни каяться не стану. Ведь не священник и не судья ты. – Рыжий меж тем безмятежно посапывает во сне под колыбельную убаюкивающих слов. – Связывать несвязываемое, сплести несплетаемое буду, так что не обессудь: рассказ поведу, как умею, как сложится... Не от мыслей и чувств берёт начало эта невероятная история, не моими устами она слагалась – в мои, впрочем, кем-то вложена. Восходит же она к тем стародавним временам, когда не то что ты, Рыжий, но и прабабка твоей прабабки не родилась ещё на свет божий, – как

говорится, к тем старым добрым временам, когда водка стоила три шестьдесят две, колбаса – два двадцать, метро – пятак, когда очереди были длинные, а люди, издалека кажется, бескорыстнее и потому чуточку добрее... Порасскажу тебе о том о сём, что было и чему сам был свидетелем, явным ли, тайным ли – неважно, и, наверное, ещё о том, чего не помню, не знаю, но что должно было случиться непременно, о чём нам надо догадаться, что нужно понять.

Рыжий вздрогнул во сне, вздохнул тяжко-претяжко и спросонья, оторвав от циновки тяжёлую лобастую голову, очумело огляделся вокруг:

«Правда – это фигура, дескать, речи, вызванная ущемлённым чувством справедливости, – казалось бы, молвили его всё понимающие карие глаза. – А посему значит: всякая правда есть лжа, ежели правда та – не твоя».

Нехотя, удерживая на весу голову и постукивая крючковатым хвостом по полу, Рыжий переводит ленивый взгляд куда-то вверх... и уже не смеет сомкнуть слипающиеся веки.

Прорвавшись сквозь прореху в густой паутине низких туч, луч ночного светила скользнул привидением в окна второго света, проплыл по потолку, по стенам и бледной дрожащей волной пробежал по балюстраде, выхватывая из сгустка тьмы характерные лица из галереи портретов, искажающих одни и те же черты лица разными страстями человеческой натуры.

Далее, над арочным входом, ведущим из прихожей в каминный зал, выше самой балюстрады, раскинулось во все цвета радуги овальное полотно. На уродливой картине – недремлющее око. Как если бы в вечном стремлении навстречу друг другу, глаза вдруг сошли со своих орбит и выкатились из глазниц, чтоб своими внутренними кровавыми мысочками, где копятя все самые горячие слёзы мира, слиться воедино. Своим абрисом они отдалённо напоминали уста, сложенные в лукавую ухмылку. Зеница – яркое солнце... или, быть может, сестрица полная луна? Округ зрачка – радуга на небе голубом. В хороводе по кругу плывут пушистые белые облака, посечённые у краёв прожилками алых молний. Словно бы таинственный остров среди бурной реки омыт течением опушки шелковых ресниц. Вверху, на круче, шумит сосновый бор брови, за соснами – бугристое лобное плато. Просёлочная дорога вьётся вдоль опушки кудрей густого леса. Раздаются вширь щёк заливные луга, колосясь спелой травой. По обочинам дивного лика, скрутившись запятыми, торчат загогулины ушные. Всё видит, всё слышит – и чует трепет колоземицы.

Парой своих прозорливых карих глаз псина беспокойным взглядом перебежала на тень на полотне напротив – без абриса, без очертаний. Как будто газ эфирный, тот лик пугал, страшил и ужас наводил. И в страхе бежали глаза. А там, на стене, в простенке между окон, куда вперилось недремлющее око, на уровне человеческих глаз уже мерцало каким-то внутренним светом иссиня-чёрное полотно, с тремя яркими лазурными точками в самом фокусе. Невольно привлекая взгляд, изображение как будто было помещено внутрь одной из половинок скорлупы гигантского яйца, совершенного своим абрисом, и достигало сажени в размахе. Под картиной табличка с надписью: «Тоска». Под «Тоской» – полукруглый столик красного дерева о трёх резных ножках, на поверхности столика – стопка пожелтевшей от времени бумаги.

– Вот это, Рыжий, и есть то самое окно в мир. Через него, как сквозь лупу, можно увидеть самые мельчайшие детали бытия, если, конечно, сумеешь примерить свой взгляд к абрису картины окружающего тебя мира.

Указующий луч высветил печали взор, и, вострепнувшись, Рыжий в мгновение ока взвился с рыком на все четыре лапы... постоял-постоял – шерсть дыбом, весь настороже: привиделось чего? или же так, дурь какая, блажь? – да и лёг, сложившись без лишних движений. По-собачьи подобрав под себя задние лапы, на передних упокоил клыкастую морду, однако уши сторожко наострил. Карие умные глаза спокойно уставились в пространство: словно бы задумался о чём тревожном. И понимающе моргает. Ох-хо-хо...

– Это просто шорохи свежего сруба, треск поленьев в камине, студёный оскал природы за окном...

«Да стоны и смех, эхом долетающие издалека», – отвечает Рыжий философски мудрым взглядом.

Рыжий с опаской покосился назад и вверх.

Недремлющее око начеку. Взирает в мирскую даль сквозь иссиня-чёрное окно. В единственную и неповторимую ночь, что тенью ложится на землю от заката и до самого восхода. Вещую ночь, когда ещё столь ярко не сверкает Венера.

Постучав хвостом по полу, Рыжий успокоился и прижал уши, тяжело вздохнул и упал безмятежно на бок, спиной к камину, – так, по-видимому, ему удобнее было слушать вполуха и подрёмывать.

– Ты, псина хитрая, слышишь то, что не предназначено для уха постороннего – пусть не человеческого, однако ж таки уха живого существа, смышлёного.

Льются слова, навевая дрему. Возбуждает дрема яркие видения. Оживают тени давно минувших дней, и всё реальное – сон уже, сон же – явь, а явь... она и есть настоящая жизнь. Поутру покажутся те видения грёзами. И уж чудится, будто самое сложное, самое непостижимое, самое невероятное в жизни и есть наши мысли – о жизни нашей.

– А ты ещё спрашиваешь: зачем да почему?

За окном глухо ветер воеет, нагнетая метель...

– Может быть, ты думаешь, что ни сегодня – завтра завьюжит за окном, заметёт все стёжки-дорожки, и окажемся здесь вдвоём заложниками матушки-зимы? Занесёт – не откопают?! Не бойся. Ни заносы, ни морозы – нам всё нипочём. Что зима?! Нет, не зимы надо страшиться. Даст бог, перезимуем... Это даже хорошо, что дни зимой – короткие, ночи – длинные...

Неведомо, однако ж, рыжей псине душевное смятение.

– Во всякой жизни, думаешь, всегда есть место для другой жизни. Но кто сказал, будто всяк существу предопределена одна дорога? Что поле своё пересекаешь одиножды?

Блики догорающих в топке камина углей в отсвете языков пламени выхватывают недремлющего ока пытливый взор, устремлённый в открытое в мир окно, где иссиня-чёрной ночи полотно, с тремя мерцающими лазурными точками, манит в бесконечную даль вселенной...

Забрезжил рассвет. Вспыхнула утренняя зоренька. И уже хозяйкой под заснеженное утро жалуется зима. Без оттепелей на востоке, с трескучими морозами и снежными налётами, ей долго свирепствовать, пока сама же не прослезится до срока от собственной суровости и не оттаёт норовом. Но чем грозит она на самом деле, не может знать наверное никто, даже духи сей богом забытой обители, от мира удалённой, казалось бы, навечно.

Рванный рубль Примерещится же?!

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль... Надо взять чёрную без одной отметины кошку и нести её продавать рождественскою ночью на перекрёсток четырёх дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу... Каждый может испробовать сделать в своём нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдёт в словах моих не ложь, а истинную правду.

Н.С. Лесков. Неразменный рубль

В тот декабрьский вечер я допоздна засиделся на кафедре: новогодний парад стенных газет. Снизошло ли вдохновение, нет ли вдохновения, а ты давай – твори. Вот и творил, малюя чёрт-те что на ночь глядя, пока, гонимый голодом и ленью, не очутился в безлюдном торговом зале универсама.

В час перед закрытием, когда мешочники разъезжаются электричками по всем ближним и дальним окрестностям и центр столицы пустеет, здесь хоть что-то да можно улучшить. Не то чтобы я в самом деле спешил, нет, скорее, я чувствовал, что мне следовало бы поторапливаться, а вместо этого, напротив, получалось так, что я всячески мешкаю, и оттого, разумеется, ощущал в себе некоторое неудовольствие. Побродив неспешно по торговому залу и вспугнув гулкое эхо, затем наскоро побросав в корзину то небольшое, на что глаз пал: заветревшийся обрез варёной колбасы, треугольник топлёного молока да сдобную плюшку сердечком, – я направился к кассе, чтобы расплатиться за покупки.

Кассирша, пожилая женщина в тёмно-голубом халате, устало взглянув на меня своими покрасневшими безразличными глазами, едва очнувшись от полудрёмы и, небрежно беря в руки и ощупывая одну мою покупку за другой, двумя средними пальцами перекидывала туда-сюда засаленные костяшки на счётах: 47, 25 и 24...

– С вас будет... э-э-э... 96 копеек, – пересчитав ещё раз, уже в обратную сторону, наконец сказала она и пробила чек, провернув справа ручку кассового аппарата.

Я выложил в прищипленную к прилавку гвоздём оловянную плошку купюру в половину аванса достоинством, то есть четвертак.

Она закатила глаза вверх, в которых так и читалось: «О, господи!» – и, пожевав беззвучно губами, выдавила из себя:

- Сдачи нет.
- И что? – опешил я.
- Мелочь давай.
- Нет у меня мелочи!
- И у меня нету. Кассу сдала.
- Но это мой ужин! – воскликнул я, невольно раздражаясь.

Смерив меня скучающим взглядом снизу вверх, от ногтя большого пальца, перепачканного зелёной гуашью, до сдвинутой на затылок мокрой от растаявшего снега меховой шапки-ушанки, и обратно сверху вниз, она денег не взяла, но всё ж таки покосилась в задумчивости на пробитый чек и при этом развела руки ладонками в стороны, как будто самого приглашая заглянуть в ячейки кассового ящика.

– У меня... Нет, в самом деле, у меня нет, – оправдываясь, я принялся выкладывать из карманов на обозрение всё их содержимое: вторая половина аванса, пятак на метро, двушка, чтобы позвонить, автобусная книжечка с талонами на проезд, расчёска, ключи, пачка «Казбека», спички, носовой платок. – Всё. Мельче нет.

Она вздохнула досадливо и взяла-таки четвертной.

– Не наскребу, – с сомнением покачала головой, доставая из глубины ящика три зелёнькие – трёшки, две синенькие – пятёрки, и принялась копотливо отсчитывать мелочь, монетку за монеткой.

А медяков-то, медяков! Возьмёт пригоршню, отсчитает рублик и кладёт в оловянную плошку, ещё один отсчитает – и вздохнёт тяжело, вздохнёт – и собьётся со счёта, собьётся – пересчитывает.

Так считала она, считала, а мелочи в ячейках кассы таки не набрала на сдачу – спохватилась и, как нарочно, опять взялась пересчитывать, приговаривая:

– Человеческим языком говорила же: не наскребу по сусекам. А вы мне что?!

– Да ладно! – Махнул я тут рукой с досады. – Восемьдесят – или сколько там копеек? Нет, так нет. Не разорюсь, в конце концов.

– А я что могу?! – резкие, визгливые нотки проскользнули в её голосе.

– Будете, стало быть, должны. В следующий раз. Запомните!

– Сам напомнишь, – буркнула. – Я записку в кассе оставлю. Сменщице.

Вычерпав из плошки и пересыпав в карман мелочь (карман разве что не затрещал по швам), я отошёл от кассы к упаковочному столу, переложил свои покупки в холщовую сумку и направился было к выходу, когда вдруг слышу за спиной:

– Молодой человек! А-а, молодой человек!

«Чего ещё там?!» – задаюсь досадливым вопросом и с недовольной гримасой ковыляю обратно к кассе; карман, набитый медяками, погрёмывает и бьёт при каждом шаге по ноге, так что приходится придерживать его рукой. А меж тем кассирша – надо же?! – отчего-то совершенно преобразилась: улыбается мне, глаза, впрочем, смущённо прячет, зато язык что помело:

– Знаете, а вы оказались совершенно правы! Уж извините меня. Отложила и запомнила. Как напрочь отшибло. Думала сдать с кассой, да, чай, завертелась. Так и завалился бы в кармане. Вот, возьмите, пожалуйста.

И она протягивает мне потрёпанный, едва ли не просвечивающий, как калька, но податливый, как шёлк, бумажный рублик, выцветший и надорванный, – одним словом, никудашный. Пальцы её дрожат мелкой дрожью, и выдавший виды рублик трепещет, будто на ветру.

– Одного не могу взять в толк, – между тем рассказывает она, – как вы-то могли знать, что завалился в кармане халата. Ума не приложу! Будьте уверены, так и не вспомнила бы, если бы вы не подсказали.

Я в недоумении пожал плечами: понятия, дескать, не имею, о чём это она, однако ж протянутый мне рубль прибрал-таки к рукам, буквально осязая, как он ещё пуще расплзается под подушечками моих пальцев.

«Ой-йой-йой!» – чудится мне испуганный возглас.

Отдельно, думаю, в нагрудный карман отложу, чтобы и самому часом не запомнить, что он рваный, изношенный, что потратить надо в первую очередь, может статься, сей же ночью.

«Вот-вот, в такси!» – опять почудилось мне, и я, как на полоумную, покосился на кассиршу, что во все глаза уставилась на меня.

– Вы же сами. Сами! Да ведь только что! Я не глухая! – уже едва ли не кричит она, всполошённая чем-то, и ошарашено таращится, жадно ищет в моих глазах намёка. – У меня недостача по кассе. Ровнёхонько один рубль. Я ведь совсем запомнила, что в карман его... Так и не вспомнила бы, халат в прачечную снесла бы... Если бы не вы... Вы сказали! Вы – сами! Или что, вы хотите сказать, я совсем, да?!

«Не иначе, как не в себе», – мелькнула мысль, а вслух я ей:

– Сколько с меня?

Туда – сюда пощёлкала осерчало костяшками на счетах, и отвечает мне кассирша, поджав губы:

– Четырнадцать копеек как раз будет.

Тютелька в тютельку на четырнадцать грамм, отсчитав сдачу по одной копеечке, я облегчил свой грузилом отвисший книзу карман и, надеясь, что наконец-то разошёлся с чокнутой, прямоком направил свой шаг к выходу из магазина. Вслед за мной по пустому торговому залу побежало глумливое эхо.

На выходе, уже у запертой на щеколду двери, со шваброй наперевес караулила уборщица последнего на сегодня покупателя. «Нет, определённо, здесь что-то не так, – подумалось мне, и опасливым предчувствием дрогнула трусливая струнка в груди: – А ну как шваброй – да по горбу?! Ни с того ни с сего!» – «Вот ещё! И на кой ляд ты ей сдался?!» – вроде как услышал в ответ. По спине пробежали мурашки: «А что, если и вправду огреет?» – «Не бойсь, не огреет!»

Не успел я, однако, осознать всю нелепость подобных страхов, как вдогонку мне раздался отчаянный призыв:

– Молодой человек, а?! Ну хотя бы объясните мне, я не понимаю, что в этом такого, почему вы не хотите признаться?! Я же отчётливо слышала!

Вполоборота, приостановившись, отводя глаза в сторону, чтобы только не видеть её рыскающих глаз, чтобы не чувствовать себя полудурком, я ответил, сдерживая растущее изнутри раздражение:

– Я не знаю, о чём вы. И что вам послышалось, я тоже не знаю. Ничего эдакого я и не думал говорить вам. Поверьте мне на слово, я с вами вообще ни о чём таком не говорил. И оставьте, пожалуйста, меня в покое!

В ответ – смешок: то ли истерический, то ли злорадный – по тону не различить.

– На слово? Тоже мне скажете... Ну а чего эдакого, о чем вы говорите, вы мне не говорили, а? Я не понимаю! И чему вы смеётесь? За что?!

«Бр-р-р... Что за тарабарщина?!» Сейчас вот, подумалось, с ней случится истерика.

– Так это надо мной вы решили посмеяться?!

Я вдруг почувствовал, как мною овладевает паника.

К счастью, тут уборщица отворила дверь и, давая мне дорогу, отступила на почтительное расстояние, при этом подозрительно поглядывая искоса на меня – как-то не совсем добро. Едва ли не бегом я выскочил из магазина и, задыхаясь, жадно полной грудью вдохнул. «У-ух!» – с облегчением выдохнул, тряхнул головой и ещё раз вздохнул. Как если бы стряхнул с себя... нечто непосильное.

Воздух был мягкий, в меру студёный и необычайно свежий, особенно после духоты, как мне теперь казалось, в торговом зале. Я подставил лицо густо падающим с неба лохматым снежинкам.

В эту позднюю пору институт напоминал присутственное учреждение отнюдь не высшего разряда в приёмные часы. Таковым он, собственно, и являлся с полторы сотни лет тому назад, пока здание не достроили да с десятков раз не перекроили на новый лад. Старорежимный казённый дух до конца, впрочем, не выветрился, однако ж скрестился с пришлым, что без роду и без племени, и родился некий уродец – без характера, но с норовом. С тех пор привидения здесь не эхом – гомоном гуляют по сводчатым коридорам, и пахнет тут, особенно в закоулках и на лестницах, не то казармой, не то конюшней, не то парикмахерской. Кто-то суеверный подумает – серой. Хлопают двери. На подоконниках горы шпаргалок. Подошвы по полу разносят раздавленные окурки.

Зачётная сессия в разгаре. Вокруг не лица, а глаза – напряжённые, ждущие, вопрошающие.

Я запер на ключ дверь кафедры, чтобы без толку не рвались сюда на огонёк непрощенные гости. Открыл форточку – сквозняком выветрить застоялый запах табачного дыма и краски. Облегчил карман, пересыпав в ящик стола всю мелочь. Затем пришёл черёд наскоро перекусить, чем запасся в магазине, и приняться за работу. За час, прикинул в уме, управлюсь с алой гирляндой в виде молнии и двойной петлёй оранжево-жёлтых огоньков, что восьмёркой должна опоясать зелёную ёлку-единичку. А там, глядишь, останется всего ничего – над голубой дорогой и санями девяткой врисовать голубых снежинок круговерть, там-сям мазнуть кистью... Если поднапрячься, то можно поспеть в метро как раз до закрытия.

Откинулся в кресле, расслабился, собираясь с духом перед последним ударным усилием, на мгновение, казалось бы, прикрыл глаза, представив, как внахлёт накладываются и оттеняют друг друга цифры, высвечивая наступающий новый год... и закружило меня, завертело, точно одну из тех невесомых снежинок, что парят в свете неоновой лампы за оконным стеклом, ложатся пушистыми белыми шапками на голые ветви деревьев, порошат институтский внутренний дворик...

Уж было совсем сморило, да отчего-то вздрогнул всем телом. Спугнув незаметно окутавшую меня дрему, смутная тревога закралась в мысли, проникла в чувства. Такое ощущение, ну прямо точь-в-точь как в детстве, будто помимо тебя ещё некто незримый присутствует в комнате, некто затаился за шторами, бесшумно отделяется от тени в углу и на цыпочках крадётся за спиной... скрипит зубами...

Совсем неудобно почувствовал себя, когда вдруг послышался едва различимый шёпот...

Удивительно, но, прислушавшись к себе, страха не испытал, отнюдь нет, скорее – тревожное любопытство. Этот некто просил тихо, но внятно, чтоб его... – что-что?! – залатали? Шёпот-то я отчётливо слышал, однако ж, озадаченный, тщетно вертел головой по сторонам.

Внезапно невероятная догадка поразила меня: не тот ли это ветхий бумажный рублик взывает к милосердию? Нелепо, конечно, само подозрение, но здесь ведь больше некому... Да и шепоток мне кажется знакомым: для мужского слишком высокий, для женского слишком низкий и с каким-то шипящим присвистом, как подзабытый шелест осенней листвы на ветру.

Ну а почему бы, собственно говоря, не подлечить бедолагу, а? Раз жалобно просит, то дело его, стало быть, дрянь.

Я вытащил из нагрудного кармана сложенный вдвое рубль, распрямил, повертел и так и сяк, посмотрел на просвет: ничего необычного в нём не заметил, ну разве что рваный. Затем, бережно разгладив на столе, я распотрошил папироску и с двух сторон подклеил, прижал его к столу орфографическим словарём.

– Спасибо! – первым делом поблагодарил меня рубль, освободившись из-под прессы. – Теперь почти как новый. Могу ли узнать имя своего спасителя?

Почему-то я совершенно не удивился, услышав вполне внятный голос, наоборот, сарказмом осенило: а как же, вежливый попался, к тому же человеческим языком молвит! – и без тени смущения представился:

– Николкой свои кличут. На кафедре – Николай Ремизанович. Денигин – моя фамилия.

– Тёзка, значит?

– Почему тёзка? – изумился я, не сразу уловив намёка соль.

– Ну ведь не родственник же, в самом деле? Хотя нечто сродственное, безусловно, есть. Точно перезвон серебра и меди, никеля и золота. Звучно и возвышенно: Денигин. А вот имя – Николай, победитель никак, да? Кто над кем или над чем?! И сила, и власть, и тайна... По батюшке, – простите, что-то восточное, не так ли?

– Ничего восточного. Как в Майе, Гертруде или Владилене нет ни на йоту ни индейского, ни германского, ни же славянского.

– Ах, вот оно что! Дух времени. А я-то... Так-так-так: РЕволюция МИровая ЗАНялась. Ремизан, стало быть, ваш батюшка! Что ж, красиво, хотя чуточку двусмысленно. Только тени, и ничего кроме теней. Играют-таки, по-прежнему переливаются смыслами имена. Но вы-то, сами, к чему склоняетесь?

Не понял вопроса, и решил замять эту скользкую, почему-то показавшуюся неприятной мне тему, спросив, в свою очередь, как самого-то величать.

– БО 2575680 – вот моё полное имя, – ответил. – Ну а все – попросту: рубль.

БО – ? Хм, и не окликнешь-то его никак: язык – ни ласково, ни бранно – не поворачивается сказать, а говорят ещё, будто в русском языке нет слов, тем более имён, начинающихся с мягкого знака. Вот и верь после этого в вечные, казалось бы, истины.

Между тем рубль говорил охотно, без тени робости, всем своим поведением давая понять, что он здесь, со мной, абсолютно свой в доску.

– Кстати, вы здорово выручили меня. Вылечили. Можно сказать, спасли от преогромнейшего несчастья. Будьте уверены, Николка, услуг я никогда не забываю. И хотя, честно говоря, платить мне сейчас нечем, но отплатить – долг чести.

– Пустяки! – махнул я рукой, размышляя над тем, как мне обращаться к нему: на «ты» или на «вы». – Мне ничего не стоило.

– Нет-нет, в таком деле пустяков не бывает. Всё имеет свою стоимость и цену.

Из дальнейших пояснений моего нового знакомого (всякий, кто попытался бы внимать деталям, рисковал бы заснуть от скуки, а то, что я спал и видел сон, в том сомнений у меня не было) следовало, что когда рубль изнашивается, то его изымают из обращения и заново печатают. Процедура, понятно, не из лёгких. Как-никак, полтора десятка тонн на каждую клеточку давят. Да что поделаешь, раз бессмертие требует ежегодного перерождения?!

– Тут, правда, есть один, так сказать, опасный нюанс, – продолжал он раскручивать свой монолог. – Сами понимаете, нынче рубль не золотой, не серебряный, так что его вполне могут забыть, например, в кармане ветхого халата, или же заложить вместо закладки меж страниц скучной книги. Ну и поминай тогда, как звали.

– У нас, среди людей, – подсказал я, – это называется пропасть без вести.

– Во-во! Сами понимаете, какими рисками наполнена наша жизнь. Впрочем, теперь, когда вы спасли меня столь чудесным и, не побоюсь определения, романтическим образом, все эти страхи, надеюсь, позади. Крутанусь напоследок ещё разок, другой, а там – э-эх!

Впервые в жизни мне выпал случай потолковать со столь диковинным собеседником, и я старался быть деликатным, пускай даже в ущерб себе, но ему полезным:

– Так, может, я избавлю вас от всех этих кошмаров? Для меня это плёвое дело.

– Хм, и каким же образом, хотелось бы знать? – насторожился он.

– Сохранил бы вас как реликвию, как уникальный говорящий экземпляр. Иногда по вечерам, спасаясь от скуки, я бы доставал вас из-под стекла на письменном столе, и мы коротали бы... я бы... мы бы... за болтовнёй душевной...

Тут я прикусил язык, поскольку при этих моих словах с рублём начало твориться что-то неладное: сперва он позеленел, как трёшка, затем посинел, как пятёрка, и наконец покраснел, даже побурел. Должно быть, не подумавши, своим предложением я обидел его, – хотя ненароком, без умысла, однако ж таки уязвил.

– Нет! Лучше сразу порвать и выбросить, – натужно прохрипел он, опять облачаясь в привычные, тусклые жёлто-серые тона, и как отрезал: – Может, кто подберёт – и в банк на обмен снесёт.

– А почему – нет?

– Да потому! Не ясно, что ли?! Ещё и фамилию такую благородную наследовал! Тоже мне выискался, Рублёв недоделанный. Да предложите вы любому старику, пусть самому заслуженному, из тех, кто (я уверен – от безысходности) лицемерно твердит, якобы не мыслит начать

свою жизнь с самого начала, так предложи ему нечеловеческие муки – любой пытки не испугается: одухотворённый надеждой, бросится в объятия ужасного эскулапа, лишь бы обрести вторую жизнь, начав с белого листа. А чем я хуже?! Разве тем только, что ему не суждено того, что мне от рождения дано! Смысл моей грошовой жизни в том исключительно и состоит, чтобы вслед за одним оборотом свершать другой, – и чем чаще, тем лучше. Кому, скажите мне, нужна папироска, если её нельзя закурить, или спичка, если её нельзя зажечь? Вам?! Да никому! Так никому не нужен и рубль, если на него ничего не купишь. Только полоумный скряга складывает рубли в мешок или матрац. Однажды довелось повстречать такого типа. Ужас, доложу я вам! Я понимаю всю благородность высокого порыва кладоискателя. Только за одно это человечество достойно любви и уважения. Но вот когда некто низкий и подлый зарывает клад в землю... У меня нет слов. Я готов в тартарары пустить всё человечество скопом.

– Я что, изверг, что ли?! Вертитесь себе на здоровье. Мне-то что?! При первом удобном случае, будьте покойны, не премину потратить или, на худой конец, разменять. Не жалко мне рубля.

– Просто не знаю, как и благодарить-то, – рассыпался рубль в любезностях, зазвенев пусть не серебром, нет конечно, но медным, малиново-елейным звоном – это уж точно. – Вы, я вижу, настоящий человек, не скряга. У вас, пожалуй, долго не забалуешь.

– Что правда, то правда.

– Сразу видать.

– Да?

– Конечно. Как увидел в магазине, так и смекнул – дай, думаю, рискну, авось удастся обернуться ещё разок, другой. Люблю рискованные предприятия. Ведь без риска в нашем финансовом деле одна лишь тоска – сплошная бухгалтерия, кредиты да дебет.

– И на том спасибо.

– Не мне – вам спасибо! Ведь хлопот-то сколько, хлопот-то, а?! Да и затраты как-никак. Папироску распотрошили? А она вам аж в полторы копеечки стала. Не поскупились. Копеечка, значит, рубль сберегла. Но в долгу я не привык оставаться. Не в моих правилах. Нет, не в моих.

Тягаться во взаимных любезностях – дело безнадёжное, и я махнул рукой: да ладно, мол, чего уж там? Не будем мелочиться. Какие могут быть долги?!

– Бессребреник, что ль?! – какая-то то ли насторожённость, то ли подозрительность недоверчивой ноткой проскользнула в тоне его голоса – фальшивой.

Уже учёный, я ему в ответ: ежели, дескать, в самом деле неудобно, ежели так уж неймётся отплатить, что ж – извольте доставить удовольствие какой-нибудь презанимательной историей. И будем квиты.

А он в ответ, вроде как торгуясь по врождённой привычке, – не без того, надо полагать, чтобы набить себе цену:

– Не в моих, конечно, правилах трепаться, но долг платежом красен. Не отходя, как люди говорят, от кассы.

«Малая величина, – подумалось, – единичка третьего разряда, если в копеечках считать, а во всём внешнем апломба, по меньшей мере, на миллион терзаний».

– Весь мой многовековой опыт, начиная с XIII столетия, говорит за то, что человек неизменно разворачивается лицом ко мне, к рублю, а ко всему прочему – чем придётся.

Я терпел, я молчал, едва сдерживаясь, чтобы не выказать досаду: «Гонорок-то надо бы держать в рамках нынешнего достоинства, а не к этимологии да генеалогии взывать. Свидетели в таком деле отнюдь не надёжные». Только и обмолвился вслух:

– Так ведь чёрт-те знает до чего можно договориться!

– Ну-ну, любопытно. Возражайте, не стесняйтесь, – сам раззадорившись, рублишко вроде как подначивал.

– Во-первых, начать надо с того... – сказал я и замялся, подозревая подвох.

– Смелее, смелее, – рубль зарделся, должно быть, в предвкушении. – Ну же, я слушаю.
– Человечество создало бесценную культуру...

Раздался хлопок, как если бы кто шлёпнул с размаху ладошкой по коленке.

– Я так и знал! – И рублишко расхохотался: – Ха-ха-ха! Дальше – и во-вторых, и в-третьих – можно не продолжать. Человечество, как вы изволили назвать стадо разумных, действительно создало много ценного, в том числе и культуру, и вашего покорного слугу в том же числе...

– Не надо передёргивать! Я сказал: бесценного, то есть не имеющего цены.

– Хм, и какова же, на ваш взгляд, стоимость этого бесценного? Или стоимости тоже, скажете, нет, да?

– Почему нет? Какая-то стоимость, наверное, должна быть... – сбитый с толку его неза-тейливым каламбуром, я стушевался и с трудом подбирал правильные слова.

– Стоимость, значит, есть, а цены – нет, так что ли? – И громогласно: – Ха!!! Какая чушь собачья?!

И для пущего унижения оппонента в лёгкой, на первый взгляд, пикировке негодный рублишко не преминул перевернуться вверх тормашками, тем самым, может статься, выказывая свой фунт презрения. Мне даже показалось, что едва не сдуло его со стола сквозняком, и я прихлопнул его ладошкой. Прижал – и отпустил.

– Ну нельзя же так – буквально! – понимать сказанное, – попытался было спасти я своё лицо.

Но он уже вошёл в азарт – и изливался желчью:

– А как? Научите.

Охота спорить, что-либо доказывать, в чём-то разубеждать вмиг улетучилась. Я почувствовал скуку и опустошённость. На том, пожалуй, наше мимолётное знакомство благополучно и закончилось бы, да хитрец вовремя уловил перемену в настроении и этак вкрадчиво, елейно зашелестел, примирительно шевеля уголками.

– Только чур не обижаться! Вам это не пристало: согласитесь, каждый человек чего-то да стоит. Но каждый цену себе набивает сам, как может, как умеет. Люди обрели свою стоимость и себя оценили, сделав себя средой моего обитания. Вы подчинили себя всевозможным уложениям и условностям – законам. А суть закон что? Да всё тот же преysкурант цен. Dura lex, sed lex, – закон на то и закон, чтобы ему следовать. Каждому деянию – своя цена. А я, так сказать, мера, если вам так благозвучнее – мыслительная категория, всеобщая условность. Вы – да сколько душе угодно! – можете сажени да пяди заменять метрами и сантиметрами, а на расстояние, на пространство вам всё равно не покуситься. Хоть секунды, хоть минуты декретом отменяйте – время останется быть временем. Без чего угодно, но без мерила, без всеобщей условности, без цены наконец, никак не обойтись. Ни-ни! А мера, которую человечество выдумало всему разумному, эта мера – я!

– Станный, однако ж, разговор, – с сожалением вымолвил я. – Что-то циничное во всём этом...

– К циникам, – не замедлил парировать негодный рублишко, – я не имею ни малейшего отношения, а вот к ценникам, это уж точно, самое что ни на есть непосредственное.

Он поиграл всеми возможными цветами своей скупой рублёвой радуги и как ни в чём не бывало ровным, спокойным голосом, не забывая лебезить, заговорил:

– Ради всего святого, я умоляю вас: не принимайте на свой личный счёт, особенно того именно, чего я и помыслить не думал. Я вам так обязан, так обязан. Даже не знаю, какой монетой отплатить. Впрочем...

Я вздохнул, теряясь в догадках, к чему он клонит, а он мне.

– Кстати сказать, вы, верно, слышали, кто такой Каин?

– Каин?! – удивился я столь неожиданному скачку в направлении его мысли.

– Да-да, Каин. Я не оговорился. Старший сын Адама. Он убил Авеля, брата своего родного.

– Ну конечно же, убил – и что с того!

– Ровным счётом – ничего. Ибо я, понятно, не о библейском, я о Ваньке Каине – о крестьянском сыне Иване Осипове речь веду.

Я пожал плечами: при чём здесь крестьянский сын?

Вдруг рублишко точно преобразился: погрузнел, глянцем взыграли серо-жёлтые тона – то ли золотистым, то ли серебристым оттенком, а с этим в его речи напевно зазвенел благородный металл.

Темна ноченька, узка кривая улочка, да вот беда-разбеда такая: все стёжки-дорожки ведут прямёхонько к будке сторожевой – не обогнуть её стороной, не прошмыгнуть мышкой серой мимо стражи. Священник в рясе да дьячок в полукафтани спешат о сею позднюю пору к умирающему. А куда ж ещё средь улиц безлюдных в ночь глухую – неурочный час, как не к смертному одру отпустить грехи грешнику не покававшемуся?!

– Ба-атюшка! А-а, батюшка?! – окликают их стражник. – Куда путь-то держите?

– О Господи, сын мой, сохрани и помилуй, свят-свят-свят. Всемогуший наш к ответу призывает душу грешную. Отче, да святится имя твое, во веки веков, аминь, – бормочут себе под нос.

– А ба-альшой ли грешник-то, а?! – зубоскалит сторожевой.

– Прости ты, Господи, душу заблудшую. Не по злему умыслу – скуки ради грехи тво-рящу...

Себя и стражников крестом осеняют, поклоны кладут на кресты на маковках куполов, лепечут слова невнятные и важно семянят себе поволе – торной дорожкой к Каменному мосту. А под сим мостом – всё сброд московский: воровской и бесприютный люд, разбойники зело удалые.

Не принизили, – призрели под тем Каменным мостом Ваньку Каина да дружка его закадычного Камчатку, ибо есть чем похвалиться на миру: ловко вскрыл Ванька сундук купца Филатьева – хозяина, прислуживал коему сызмальства, с тринадцати лет. Деньги выкрал, а на ворота купеческого дома записку прикрепил: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай на тебя чёрт, а не я». Обрыдло, видать, да и накопело. Засим с дружкой Камчаткой прокрались в попова дом, что по соседству, стащили рясу да полукафтан и, ряженные в платья с чужого плеча, айда через всю Москву, мимо стражи, вдоль глухих заборов, за которыми, аки звери лютые, псы клыкастые рычат. Эки бесшабашны головы! Воли, видать, вольной душа запросила.

Ладно вышло, а пуще того, теперь есть на что погулять-покутить в питейном заведении да дружков новых угостить-попотчевать. Ну а похмелье – так кто ж о нём всерьёз поминает, поднося добрую чарку ко рту?!

Не долго, однако, бавиться довелось. На другой день Ваньку Каина, хмельного ещё, не просохшего, выследили купцовы люди, схватили, повязали – на двор хозяйский приволокли. Хозяин, вестимо, барин. По велению, стало быть, татя цепью железною накрепко приковали к столбу, не то что не сбежишь – не шелохнёшься: в двух саженьях, на цепи свободной, свирепый медведь.

Не миновать кнута. За дела за воровские барин не милует – заперют Ваньку до полу-смерти. Да что кнут?! Заперют да в колодезь, каменный, бездонный, подыхать сбросят. О смерти быстрой взмолишься – не допросишься. Али, может статься, медведю, лютому да голодному, живьём скормят, засим останки в колодезь сбросят. Ох, тоскливо! Ох, мучительно! Кишки так и сводит от трепетной дрожи.

Всё знает Ванька наперёд, – эх, пропащая душа!

Пить, однако ж, ой как хочется, жрать не меньше хочется – от страха, думает, водой поперхнёшься, хлебом подавишься. А тело молодое любить хочет, душа воли просит... Видать, глянулся-таки служанке. Глянулся сердобольной. Солнце жаркое припекало, а глаза несчастного сердце прожигали. Медведя кормила, и ему, голодному да страждущему, тож, гляди, обломится хлеба шмат, то водицы ключевой перепадёт глоток.

Дни тянулись, ночи длились – муки нестерпимы стали, страхи притупились. Поделом татю мука. Напоследях хозяин наказал на суд скорый вора привести. Понеже на расправу горемычного поволокли, успела сердобольная тишком на ушко шепнуть, будто в колодезе том бездонном, старом и давным-давно заброшенном, схоронен труп солдата государева, несправедно убиенного.

Слышал о том прежде Ванька, знал и не задумывался. А опять учуявши, пуще прежнего содрогнулся: гнить там, на дне глубоком каменистом, и его косточкам, в земле не погребённым. И так жалко себя стало, так горько! Загубят душу вольную... Совсем было приуныл, не чая спасения, да тут вдруг смекнул. Представ пред грозны очи купца немилосердного, да как возопит дерзко:

– Слово и дело Государево!

Не воспротивился купец Пётр Филатьев закону слова и дела, сие бо словобоязнен был. Али что иное на уме имел? На лихо своё повелел доставить татя в московскую полицию. Допросили – препроводили в село Преображенское, в Тайную канцелярию. Опять пытали. Кабы знал купец, какой крутой поворот се дело примет, так скормил бы Ваньку неблагодарного саморучно на полдник медведю! Поздно, впрочем, пенять на долю лихую, коли судьбу свою, как птицу из клетки, на волю ветру неразумному сам выпустил.

Донос на удивление всем подтвердился: правду сказывала сердобольная – останки солдата на дне колодца истлеть в прах не успели. И отпустили Ваньку на все четыре вольные стороны, даже пинком под зад не наградив. А что за воля, что за жизнь, ежели в карманах сквозняк гуляет?! Отыскал он в Немецкой слободе сподручника Камчатку – и завертела-закружила корешков жизнь лихая, как трясина болотная, засосала жизнь воровская. Сначала Москва, затем Макарьево да Нижний Новгород – по многим городам и весям грабил и воровал то в одиночку, то артельно; с шайкой атамана Михаила Зори разбойничал тож.

Казалось бы, уже давно по нём каторга плачет, ан нет: не забоявшись расправы праведной, Ванька Каин возьми вдруг и объявись в Москве, да прямёхонько направь стопу в Сыскной приказ, с челобитною повинной: «Сим о себе доношение приношу...» – в оной сообщая, дескать, впал он, негодный, в немалое прегрешение, мошенничал денно и ночью, но отныне, запамятавав воистину страх божий и смертный час, от оных непорядочных поступков своих решил отойти и желает заказать как себе, так и товарищам своим, кои с ним в тех прегрешениях общи были. «А кто именно товарищи и какого звания и чина люди, того я не знаю, а имена их объявляю при семь реестре». Стало быть, одним ударом двух зайцев убил: избавился от былых корешков по разбою, кто знал его как облупленного, и себя пред властью обелил.

Не секут на Руси повинную голову – не принято. А если умаслить к тому же... 23-й год шёл Ваньке Каину, когда обернулся он в доносителя Сыскного приказа.

Обходя с конвоем зланные места и воровские притоны, многих повыловил по Москве: убийц и разбойников, воров и мошенников, становщиков, перекупщиков краденого и беглых солдат, – однако служба сия прибыток малый сулила. Недолго думая, тогда повёл злодеев не в Сыскной приказ, а в дом к себе: приношением кто умилюстит, того выслобонит, коли не сумеет умаслить – изувечит самочинно, да засим уж в Сыскной приказ препроводит. Опять сошёлся со многими дружками-приятелями, навёл дружбу и с государственными людишками. Не будь простаком, сам себе на уме, – в Сенат челобитную состряпал: сие принуждён, дескать, с разбойниками знаться, дабы те от него потаённые не были. Лукавство удачей обернулось: «Ежели кто из пойманных злодеев будет на него, на Каина, что показывать, то, кроме важ-

ных дел, не принимать», – постановил Сенат, а вскоре и вовсе обязал полицию и военные команды чинить ему всякое вспоможение, а кто откажет в содействии, «таковые, как преступники, жестоко истязаны будут по указам без всякого упущения». То-то страху нагнал на всех, а бояться, стало быть, уважают, – вот и стал Ванька важный, как индюк, даже поглупел для порядку.

Усевшись на две скамьи в одночасье, прикармливался из двух кормушек, хлебал из обеих чаш: одной рукой вылавливал злодеев, другой – разбойничал сам. Жрал в три горла и откормился яко гусь неразумный, а жирных гусей, вестимо, режут в первую голову.

Однажды вломился Ванька Каин в дом богатого крестьянина Еремея.

– Злодей! – кричит он с порога, выпучив красные глаза, и прямо в рожу Еремею кулаком тычет, чтоб тот место своё знал.

– Помилуй, какой же я злодей?! – взмолился крестьянин, утирая рукавом кровь с лица.

– Раскольник. Значит, злодей! Я те грю, самый настоящий злодей и есть!!! – орёт Ванька Каин и кулаком мужику – в рыло! в рыло! в рыло! – И молчать, когда я грю!

Едва не дочиста обобрал он Еремея да к тому ещё, несмотря на мольбы слёзные, племянницу его умыкнул; для острастки пущей приставил к дому караул. Не по зубам, однако ж, Ваньке косточка крестьянская пришлась: хрустела косточка, а обломился зуб.

На другой день Еремей бросился Ваньке в ноги челом поклоны бить.

– Верни, Христом богом молю, верни племянницу, кровиночку родную, – ронял Еремей слезу горькую, и поднёс при сём смиренно двадцать целковых выкупа.

– То-то! Смотри мне впредь, – сказал умиротворённый Ванька Каин и принял деньги.

Еремееву племянницу отпустил.

Крестьянин чинно поклонился, попятился, спиною открыл дверь и пошёл – прямиком в Тайную канцелярию стряпать донос, да не облыжный, свидетелей подношения представил. Тако и сии – очевидцы.

Доверие к Ваньке Каину поколебалось. Вспомнили о былых непорядочных, тёмных делишках – хвост к нему приставили. С досады, дабы поправить упущенное, уличил он закадычного дружка Камчатку и сдуру выдал головою вперёд, полагая, верно, вместо своей. А дружок его возьми да и расколись на допросе. Развязался язык длинный под пыткой – поведал закадычный обо всём, как на духу. Обо всём, что было и чего не было, но что предполагали услышать заплечных дел мастера.

Плёл, выходит, Ванька сеть для рыбки помельче, да сам в ту сеть и угодил.

Покатился снежный ком с горы – лавиной обернулся. Между тем в руки генерал-полицейстера Татищева попала челобитная некоего солдата Коломенского полка Фёдора Зевакина. В оной обвинял солдат Ваньку: умыкнул, бесстыжий, дочь, пятнадцати лет от роду всего...

– Одно к одному, – подумал Татищев. – И одно безобразнее другого.

Закрыв глаза на указ Сената, генерал-полицейстер повелел схватить злодея.

– Слово и дело Государево! – возопил Ванька Каин, да захлебнулся от ужаса, видя, как генерал поморщился и сплюнул брезгливо.

Ни разу не выходя, в одни и те же ворота дважды никому ещё не удавалось войти, – началось-таки дознание. Как горох из худого мешка, посыпались доносы, да и сам Ванька Каин, не снеся пыток, покаялся во всех своих злодействах.

Была учреждена особая следственная комиссия. Грянул приговор: смертная казнь!

И сорока не исполнилось Ваньке Каину, когда судьбина занесла секиру над головой своего недавнего наперсника: «Хватит, погулял вволю – пора расплачиваться», – сказала, а сама, видать, задумалась: свои своим головы не секут, хотя и не милуют, – и замешкалась, оставив Ваньку между жизнью и смертью. Год спустя Сенат окончательно постановил: смертную казнь отменить, наказывать кнутом и сослать в тяжёлую работу.

Вырвали ноздри, на лоб и на щёки наложили клейма и отправили в кандалах по этапу – на каторгу.

На том и закатилась звезда славного российского вора, разбойника, мздоимца и московского сыщика, но ещё очень и очень долго одно имя его приводило в трепет младенца, навредило суеверный ужас на родителя, бросало то в холодный пот, то в жар всякого, кому довелось слышать имя Каина – крестьянского сына Ивана Осипова, рождённого в 1718 году в селе Иваново Ростовского уезда...

– Вот так-то, – заключил свой рассказ о Ваньке Каине рваный рубль. – Один землю пашет, другой сапоги тачает, третий покупает и продаёт, четвёртый думу думает, пятый тащит всё, что плохо лежит. Сыщик ловит, кого может поймать. Защитник: этот не виноват, виновны мы все. Обвинитель: всё равно наказать. Чтоб другим неповадно было. Судья слушает, кто красноречивее бает, и отдаёт – кто-то ведь должен отвечать за непорядок? – на попечение тюремщику. Тот надзирает и сторожит. Высокий господин, взирая на всё свысока, воображает, будто он верховодит. Однажды, к каждому в своё время, придёт гробовщик, чтобы в крышку гроба свой гвоздь забить, и могильщик, под заупокойную, гроб в землю опускает, зарывает... Восстать из жальника никому не суждено. Так восстанавливается кругооборот душ и дум в природе, ну а с ним и высшая, вселенская справедливость. А вы, уважаемый, говорите: закон.

– Это я-то говорю?! – едва не выпрыгнувши из своих собственных ботинок, я взвился с кресла и негодуя воскликнул: – Да я и не думал вовсе ничего такого говорить! Это вы сказали, что закон как преysкурant и что каждому своя цена!

– Вот и хорошо, раз признаёте.

– Да ничего я не признаю!

А рублишко будто не слышит – как бы свысока вещает:

– Вы ещё слишком молоды, да и понятия о времени у нас с вами совершенно разные, так что, уж поверьте на слово, людей я знаю много лучше, нежели вы сами себя. И не вам – мне судить, обмелечал человек или нет.

– А это тут при чём?! – изумился я, напрочь отказываясь понимать.

– Покрутишься с моё – такого навидаешься, что ни к чему тебе будут ни вопросы, ни ответы, да и вообще слова – пустое. Одна мишура.

Меня он не слушал. Меня он не замечал.

– Как-то, пожалуй лет пять тому, занесло меня в небольшой, тихий городишко, каковыми полна земля русская. Скука в том городишке – невероятная. Вертишься между тремя точками – пивнушкой, базаром и больницей – и всё в одни и те же кошельки возвращаешься, как назло. Зато стал я свидетелем одного весьма и весьма любопытного случая.

Только теперь я сообразил, что как вскочил в негодование со своего кресла, так и стоял в оцепенении, – опомнился, сел, приготовился слушать очередной рассказ рваного рубля, что распластался посреди стола и распинался передо мной. Очевидно, где-то глубоко в душе, то бишь по своей сущности, он не лишён был театрального жеста – этаким вполне земной страстишки.

В самом начале второй половины дня среди недели в подъезд пятиэтажного кирпичного дома, что расположен на одной из центральных улиц этого тихого уютного городишки, вошла женщина – интеллигентного образа, значительно лет за сорок. Поднялась на второй этаж, вставила в замочную скважину ключ – дверь квартиры не заперта, и... обомлела: изнутри пахло газом...

Бросилась в кухню: духовка и конфорки включены на полную мощность, дальняя горелка с отчаянным шипением выбрасывает синее пламя...

Не растерялась – перекрыла вентиль...

Щиплет, выедаёт глаза. Спирает дыхание. Тугим обручем сжимает виски, и затылок ломит.

Глотая рвотные позывы, она бросилась к окну, настежь распахнула створки... осколки стёкол полетели, звоня о беде во все концы.

Свежий воздух!

Жилые помещения: гостиная пуста... Кабинет... в разлившейся луже крови на паркетном полу между секретером и краем ковра, по которому рассыпаны старинные монеты, в неестественной позе распластался муж...

Бо-о-оря-ааа!!!

На крики и, должно быть, запах газа в распахнутую настежь дверь робко заглянул сосед, затем ещё кто-то и ещё...

Её пытались увести – она, обезумев, рвалась обратно...

Где Ирочка?! Боренька, Бори-ис?!

Внучка, девочка лет десяти, была найдена в туалете, запертая изнутри, – тоже как будто мёртвая... Двое в белых халатах уложили её на носилки и вынесли из квартиры...

Вдруг блик фотовспышки – раз, другой, третий...

По городу молниеносно поползли слухи.

Народная молва взялась плести свои собственные версии. Умозрительные вереницы заключений, впрочем, не так уж чтобы разительно отличались друг от друга и, сходясь в главном, представляли примерно следующее суждение: жертва – преподаватель местного института, известный в городе и за его пределами нумизмат, а следовательно, убийство совершено с целью ограбления; на внуку покушались как на очевидца. Но кто?! – вот вопрос.

Соседка снизу, всезнающая Никитична, уверяла всех прочих, собравшихся на скамеечке у подъезда обмозговать происшествие, будто Ирочка, чай, выживет, но увечной, дай ей бог здоровья, будет непременно. Соседка сверху, тётя Поля, сокрушённо качая головой и цокая языком, сказывала, дескать профессорша задержалась в булочной, чтобы с кем-то там языком своим образованным почесать, а в то самое время – как только сердце не ёкнуло?! – ейного мужа порешили, вот профессорша, будучи не в себе, и пеняла-де: лучше бы, рыдает, и меня заодно, одним махом... Бори-и... И-ир-а... а-ай, боженька ж ты мой-ёй-ёй-й...

– И обчистить-то как следует их хоромы не успели, – тётя Поля будто клубочек разматывала и по ниточке, что пёс по следу, до сути дела языком бежала. – Всего-то, я слыхала, одну монетку и украли. Хозяин в дверь, Борис-то Петрович, а там вор по шкапчикам шарит. Хватит он крадуна за грудки. Ну шутка ли сказать, шестой десяток на исходе! Куда там в моченьке с татем тягаться?! Тот его, с испугу, по голове, да бронзовым бюстом, что под руку подвернулся. Ирочка, она за дедом всегда хвостиком плелась, не за бабкой же, – Ирочка увидела и с криком шмыг в туалет! Дурашка малая, не в ту дверь метнулась. Ей бы назад, на улицу. Там и настиг Ирочку изверг. Много ли ребёнку надоть?! Думал, порешил её, ан нет: рука, поди, дрогнула. Потом хватить монетку, даром что не золотую, главное, – золотом блестит. Газ пустил – и поминать как звали! Ищи теперь свищи... А если бы жажнуло?!

– Типун тебе на язык! – сплюнул в сердцах Кость Семёныч, до того многозначительно помалкивавший.

– Ты, что ль, вправду слыхала, как дитё-то кричало? – усомнилась Никитична.

– Может, и слыхала, так что с того?! Дети ж! Они всегда орут как оглашенные. Поди разбери отчего?!

– Дык из-за медяшки, что ль?! – только теперь изумилась Никитична. – Бориса Петровича – что, из-за медяшки?!

– Э-эх! – урезонил соседок Кость Семёныч. – Кой там медяшки! Латунь. Украден сестерций, Тиберий. Цены ему нет. Гордился им Петрович, потому как подделка времён Христа.

– Как?! Подделка! – в расстроенный унисон воскликнули соседки.

– В том вся соль, что фальшивка всамделишная! – И Кость Семёныч аналитически вычислил: убийца-де нумизмат, покушался именно на сестерций, в противном случае, ежели обычный домушник, прихватил бы всё ценное, что есть в доме и не шибко копотливо в сбыте, причём стянул бы всю коллекцию, а уж потом разбирался, что есть что и почём. Или же злодей сумасшедший! – У Петровича золотой был, петровский червонец. А не тронули... – прошептал аналитик со знанием существа вопроса, в конце концов заявив, будто бы этот некто, убийца то есть, был в очень близких отношениях с профессором, потому как последний во всём тому доверял, раз допустил к коллекции, а ведь известно, нумизматы – народ подозрительный, несговорчивый. – Да сами знаете, каков Петрович – у-у мужик был! Головастый.

Допоздна толковали соседи на скамеечке у подъезда и, прежде чем разбрестись по домам и как никогда тщательно запереть двери на ночь, кто-то предрёк: как внучка придёт в чувство, так и прольётся свет на это тёмное дело. Дай ей только бог здоровья! Полагаться, впрочем, на достоверность молвы бывает опасно, однако стоит лишь едва-едва проступить истине, как задним числом приходит прозрение: был, оказывается, провидец, экой, должно быть, гордец!

А на утро, возвращаясь с покупками с рынка, многие хозяйки заверяли, будто бы следствие вышло на студента, который якобы не только частенько навещал профессора, но ко всему прочему имел со своим преподавателем общий интерес по части нумизматики. Отныне от мала до велика – всякий горожанин знает, что за слово такое «нумизматика»; да, многого в толк до сих пор не возьмут, а вот «сестерций», «Тиберий», «аурихалк» и прочие чудные слова – повторяют.

И действительно, вскоре, то есть к обеду, уж толковали сведущие люди: вчерась, мол, вечером, после операции, хирург заключил: «Без сомнения, девочка будет жить. Об остальном говорить пока рано»; ночью она пришла наконец в себя и, заплакав, пролепетала, должно быть, в полубреду: «Не надо, дядя Коля, не надо»...

В ту же ночь, как это водится под утро, «дядя Коля» – студент, нумизмат, единственный сын уважаемых в городе родителей, также преподавателей института, – был задержан по подозрению. При обыске монету обнаружить не удалось, но на допросе он сознался в содеянном, толково же разъяснить, где монета, он так и не сумел.

Следователь, сказывали, пытаясь разобраться в мотивах преступления, задал, казалось бы, наивный вопрос: решился бы он, Николай, взять на душу грех, если б можно было всё вспять повернуть. Как правило, подследственные одинаково твёрдо, однозначно отвечают: нет! Неожиданно прозвучало лаконичное – да!

– П-почему?! – поперхнулся следователь, полагая, что ослышался.

«Дядя Коля» пожал в ответ плечами.

– Зачем она вам?!

– Я хочу её иметь, – безразлично сказал и... усмехнулся горько-прегорько.

С момента задержания и до самого суда дознание велось за стенами тюремных помещений, за пределы которых сведения не просачиваются, или почти не просачиваются. И главной новостью на много дней вперёд, вызывавшей массу предположений, явился фальшивый сестерций из аурихалка.

– Ндам-м... – как-то вечером этак загадочно и нерешительно протянул Кость Семёныч и почему-то зашептал: – А всем ли, спрашивается, неизвестно, куда задевалась монетка? Да полно! И одна ли только... Слыхал, шмонали всех нумизматов – искали, стало быть, чего-то...

И прикусил язык, испуганно покосившись по обе стороны от себя. В ответ на его заговорщический шёпот скамеечка у подъезда ответила оторопелым молчанием.

– Там, говорят, был и исчез набор Демидовых рублей, платиновых. Кстати сказать, полный: 3, 6 и 12 рублей. Поэтому, я думаю, не замешан ли здесь кто-то ещё? Студентишко же энтот – просто сявка...

А по городу неумолимо ползли слухи. Так привычно спокойные, равнинные реки по весне, взъярившись, вдруг выплёскиваются за берега и, как пересохшие губы страждущим языком, облизывают заливные луга. И вот однажды Никитична на кончике своего языка принесла во двор свежую новость: в городе объявилось некое важное лицо. И недели не минуло, как пополз слухок, будто студент ещё в детстве, то бишь сызмальства, какой-то там болезнью страдал, он, дескать, не вполне как бы и нормальный.

– Убийца чай полудурок! – истолковала Никитична. – Когда что втемяшится шизику в башку – тут прямо вынь да положь. А связать одно с другим он ни-ни, не в мочи. Монетки зажал в кулак, а то, что другим кулаком человека убил, так вовсе, может, и ненарочно. В слепоте душевной, сам того-сего не понимая.

– Да что ты такое языком-то своим мелешь? – не утерпела тётя Поля.

– А то, что лечить его надоть! – вроде бы как рассердобольничалась Никитична. – Сперва лечить, а потом судить и непременно казнить.

В самом деле, разве вполне нормальный человек возьмёт такой неизбывный грех на душу – ради монетки, которую тут же затеряет?! Тем и опасны душевнобольные: полоумны они, полоумны... Вот и весь сказ.

А между тем в ожидании суда и приговора незаметно бежали дни, недели, месяцы. Из этого томительного ожидания родилось и разнеслось по всему городу предположение, что-де суд состоится за закрытыми дверями, дабы не смущать горожан.

Чем ближе к суду – тем больше толков: всех мучил вопрос, расстреляют убийцу или же пятнадцать лет дадут?

Суд таки состоялся – при открытых дверях, вопреки всяким домыслам.

– Кто их, негодный, распускает только?!

Низко опустив бритую голову, подсудимый угрюмо молчал, изредка буркая в ответ на жёсткие, грозные вопросы прокурора: «Не помню...», «Кажется, да...», «Кажется, нет...» А затем, после напоминания, что он, дескать, давно уже не ребёнок и пускай наконец ответит суду как мужчина – прямо и откровенно, где монета, он едва не расплакался и заявил, будто вообще плохо помнит, что происходило с ним «тогда, когда то самое», не знает также, куда запропастился сестерций, но просит поверить, что лично он никуда его не задевал... да, он, кажется, помнит, что однажды он держал в руках, но что держал, точно, этого он не помнит... он совершенно не представляет, куда монетка задевалась...

Все попытки прокурора заставить подсудимого внятно ответить по существу – были тщетны, однако ж и все ходы адвоката, который представлял подзащитного психически нездоровым, умственно несостоятельным, успеха в суде не имели.

Приговор – «...к исключительной мере...» – был встречен одобрительным гомоном, как справедливое воздаяние за бессмысленно зверское преступление против норм человеческого общежития, хотя нет-нет да и раздавались впоследствии робкие голоса за то, что в принципе, а не в данном, разумеется, случае, исключительная мера наказания вообще-то безнравственна: не палач рожал в муках – не ему и голову сечь, и её-де, казнь, стоит заменить пожизненным заключением или бессрочной работой на пользу обществу, которому себя противопоставил. И ещё поговаривали о матери убийцы, о её стеклом застывших глазах, а до того, в процессе, о её же глазах как зеркале съёжившегося сердца.

– Казнить, оно, конечно, того – справедливо, да как посмотреть-то? – Кость Семёныч тилился переговорить соседок, когда те, вернувшись из зала суда, перетирали языками увиденное и услышанное.

– Чего глядеть-то, а?! – возмутилась Никитична, как если б кто понёс какую ересь не перекрестясь, и принялась поучать: – Сказано же, казни сына своего от юности, и успокоит тя на старость твою. Ибо быёшь его по телу, а душу избавляешь от смерти.

– Правильно встарь говаривали, – согласился с ней Кость Семёныч, но тут же не преминул оговориться: содрогнёшься, мол, при мысли, что должны переживать порядочные люди из-за таких вот выроdkов.

– Как нормальный родитель, то не допустит себя в такое положение! – Аж сплюнула в сердцах Никитична. – Пороть, пороть до кости надо было в своё богом отведённое время! А нет, не пороли мерзавца – так судить и матку с тяткой. Вот и весь сказ!

– Не знаю... не знаю... – рассудительно качнул головой Кость Семёныч: понятен, дескать, материнский инстинкт – сберечь дитяте то, что дадено ей от него в муках родовых, потому-де и болезнь душевную ему надумала.

– А сынок подыграл, нет, что ль, скажешь?

– Да какая она мать ему?! Не мать – паматерь!

Быть бы тут перепалке нешуточной, да как раз мимо проходил сосед Колька. Заслышал он, как страсти разгораются, и приостановился у скамейки любопытствовать.

– Ну, и чего тебе? – Тётя Поля зыркнула на мальчишку с вызовом: не мешай, мол, видишь, люди делом заняты.

– Кабы знал бы что, так раскололся бы – как пить дать раскололся.

– Да тебе-то откудава знать?! Если б да кабы!

– А мне и знать не надо. Когда почки в ментовке отобьют, так признаешься не только в том, что шьют...

– Иди-иди, шалопай, – прикрикнула на него тётя Поля. – Топай своей дорогой.

Колька сплюнул меж зубов в их сторону и пошёл.

Кость Семёныч сосредоточенно нахмурился, с сомнением покачал головой и, разминая рукой небритый подбородок, вымолвил:

– Зачем по почкам? Достаточно и табурета. Перевернул на попа, коленками на край – и через четверть часа сам всё и расскажешь, как на духу, – обо всём, что было и чего не было...

– Уж больно сердобольный ты, как погляжу, – на это ответила Никитична.

Тут к тёте Поле подбежала соседская девочка и, дёргая её за рукав, говорит зычным голосом: мамка, мол, послала сказать, – и зашептала ей на самое ухо. Тётя Поля перевела: дескать, родители ирода как раз съезжают с квартиры, на другое, стало быть, жильё, с глаз людских долой, чтоб не совестно было в глаза людям глядеть.

На время город заполонили иные толки – о мебели лакированной, о хрустале, о грязной плите и неубранном за собой мусоре...

Вдруг, где-то через месяц или чуть менее, неизвестно каким духом по городу прошеле-стел слушок: кассационный суд какой-то инстанции, то бишь уровня, в конце концов заменил исключительную меру каким-то режимом.

– И что?! – изумлённо развела руки тётя Поля.

– Дык всякое болтают! – плечом повела Никитична. – Кто ж теперь прознает?!

И действительно, кто сказывал, что приговор приведён в исполнение, кто – нет, а кто ничего не утверждал, но думает, что об этом тоже что-то слышал или даже читал.

Кость Семёныч – до чего странный человечешко! – прыснул хохотком и свой неопреде-лённый смешок сдобрил невольной старческой слезой.

Тем не менее, несмотря на требование, то и дело раздававшееся где-то в недрах людской молвы: «Таких четвертовать надо! На площади!! Прилюдно!!!» – страсти постепенно затихали: горе чуть-чуть притупилось – ничего, время лечит; девочка Ира выжила – ну и слава богу; родители убийцы покинули город – ладно, туда им и дорога; сам изувер осуждён – поделом, чтоб другим неповадно было.

Жизнь входила в свою привычную, будничную колею. Толки, слухи, сплетни опутывали своими сетями прочие, более свежие предметы и явления. Однако ж года два спустя, когда о судебном процессе давно и помину не было, город внезапно вновь всколыхнулся от неправдо-

подобного известия: видели-де Николая, целого и невредимого, там, на южном взморье, вместе с мамкой – нет, не с мамой, а с бабушкой... Да какая, собственно говоря, разница, с кем именно видели, раз он-де в самом деле был признан умалишённым и прошёл курс лечения уколами, а теперь, дескать, есть надежда, что здоровье потихоньку-помаленьку придёт в норму.

– Вишь как?! – тёте Поле отчего-то вздумалось отчитать Кость Семёныча, причём говорила она с ноткой злорадства, с таким нажимом в голосе. – Что я тебе, старый дурень, сказывала. Помнишь, аль нет? Здоровье поправит, а там, гляди, и припомнит, где монетки-то затерял. Золотые были червонцы-то, золотые!

– Угу, до ядрёна полмиллиона, – ухмыльнулся Кость Семёныч, ничуть не обидевшись на «старого дурня». – Только не ты, старая, а я говорил!

– Дык нет же, нет! Окстись!!! – заголосила Никитична. – Это я! Я!!! Я же вам тыщу раз повторяла...

Ну и вскипели страсти – сызнова. Побурлили с недельку, побурлили другую, потом стали утихать.

– И чего только порой ни болтают?! Бывает, увидят обыкновенное яичко – мерещится курочка Ряба, толкуют же: Петушок – золотой гребешок...

Так заключил свою очередную (можно сказать: алчную и кровавую) историю мой ночной собеседник, а затем пояснил:

– Но того они все не понимают, что суть отнюдь не в золоте и не в платине.

– А в чём? – давался диву я.

– В обороте, конечно же, – не преминул он похрустеть во всю мочь рублёвую.

– В чём, в чём?

– Как в чём?! – опешил рубль от такой непонятливости дремучей. – В прибавочной стоимости, разумеется. Не я, а сами люди, мудрейшие из них, сказали: «Деньги нужны для того, чтобы делать деньги!» По своему образу и подобию. Никто ведь не ждёт от платонической любви детей? Для превращения чистой и светлой мечты в дело, то бишь иллюзии – в действительность, надо иметь много денег. Эльдorado не сыскали? Нет! Вот неудачники, вероятно подлейшие из них, и назвали золото презренным металлом. С тех пор я бумажный. Всякие там отшельники и прочие лоботрясы подхватили красивое словцо, растрезвонили на весь свет. Глупцы поверили. Так и будут прозябать в гордой нищете... и других голодом морить.

– Неужели поэтому?! – неприлично прыснул я смехом, прыснул прямо в лицо... то есть ему в достоинство, едва не сдув со стола. – Ну-у насмешил, так насмешил!

– Ладно! – коротко отрезал рубль, побурев: должно быть, задел его за живое. – Для того люди живут, чтобы детей рожать и обеспечивать своё и приплода будущее деньгами. В потугах ухватить меня за соблазнительный кончик изгибаются извилины вашего мозга, напрягаются мышцы... А-а! Да что я, впрочем, распинаясь?! Лицемеры! Чтоб оттащить бархатную недельку у лукоморья, да с прелестницей... хе...хе...

– У меня нет...

– Неважно. Главное, чтоб способность любить была. Всё равно в старости пожелаете привязать к себе внучат. Рубликом, между прочим. Рубликом, в том числе. Чем ещё?! Не тараканами же, не мышами в одинокой обшарпанной конуре, где помирает никчёмный старик? Попомните ещё меня: живёте-то один раз. И чем вы хуже других, а?!

Я прокашлялся, и рубль на столе трепыхнулся. Я взял его в руки, чуть сдавил подушечками пальцев и помахиваю перед самым носом.

– Единичка всего лишь третьего разряда, да и то если в копеечках считать... – глухо просипел я, сам не признав голоса своего.

– А это уж как будет угодно считать! Как угодно! – Меж тем он уж жёлчью исходит.

Подклеенный рубль затрепыхался у меня промеж пальцев, точно на сквозняке. А я этак задумчиво верчу его, верчу... да и взмахнул им, будто носовым платком.

– Без рубля, конечно, не проживёшь, это так, – приговариваю в задумчивости, – однако ж не надо шиворот-навыворот выворачивать. Так можно и в мусорную корзину сыграть – да ещё и с музыкой.

– Погибели моей захотелось – так, что ли?! – Ёрничает, хорохорится, провоцирует, а сам вмиг поседел – белый-белый стал, как если б кто сутки вымачивал его в хлорке. – Слыхали эту побасенку. И чем всё кончилось – запомятавали?

Нда-а... Положил его на стол, перед собой, пригладил – как если б пожалел.

– Извините, – говорю и улыбаюсь, – не хотел обидеть. Я не имел в виду вас, лично...

– Хм, в том-то и дело, что вы вообще никого лично не имеете в виду.

Буркнул он напоследок ещё что-то невнятное и замолчал. Никак, обиделся.

Когда было уж подумал, а не прибрать ли мне рублишко со стола да в карман, чтоб на нервы не действовал, вдруг взговорил он – неторопливым человеческим голосом, без горячности, то хриловато, а то бархатисто выводя. Так обычно повествуют те, в ком перебрадили страсти молодецкие – от юности зелёной до зрелости самоуверенной.

До поры до времени, как и всякому незрелому отпрыску, или, если вам кажется так благозвучнее, всякой земной поросли, мне было совершенно безразлично, в чьих руках вертеться да с кем якшаться. Лишь бы особо не мяли да не задерживали оборота. Но вот как-то однажды меня, и ещё девятых братьев по ячейке в кассе, выдали на размен червонца. Моей хозяйкой стала этакая, знаете ли, ветхая с виду старушонка. Скрыга, по всем приметам. Завязала она нас в узелок, то бишь, я хочу сказать, в носовой платочек, и опомнились мы лишь в больничной палате. Там, в темноте и тесноте, продержала она нас всех целую неделю.

Совсем было приуныл-заскучал, когда вдруг слышу, просит старушка санитарку сменить ей бельё. Та пообещала и ушла. Проходит час, другой, и старушка вторично просит. Санитарка кивнула, а сама чистое бельё на смену и не думает нести. Уже ближе к полднику смекалистая старушка в третий раз просит и сморщенными трясущимися пальцами развязывает узелок. Понятно, в некотором роде я всевластен.

В кошельке сестрицы милосердной я переключался в ящик комода, что в её неуютной, убогой комнатухе. Единственная отрада этой несчастной, одинокой женщины – её внучок. Непутёвый отпрыск. Заскочит, сопляк, к ней на полчаса, попьёт чайку с вареньем, выклянчит на кино да на мороженое – и до завтра, бабуль. Ради него, стало быть, она и обирала больных.

У своего нового хозяина, безусого лоботряса, я задержался до следующего утра, пока не был проигран в очко на пляже. Ну а вечером того памятного мне дня я уже предпринял путешествие в заднем кармане джинс – чьих, спросите? Да разве ж упомнишь всех, кто тебя выигрывал да проигрывал?! Наверное, с дюжину раз, никак не меньше, по одному и тому же кругу прошёлся. Бессмысленные, бестолковые обороты, от которых, должен сказать, одни убытки – пустое стирание. Ну да ладно!

И вот глядь – к бару пришли. У входа очередь. И что за прок, спрашивается, от очередей, чья здесь выгода? Но со мной в кармане, знаете ли, нигде не пропадёшь. Это точно. В очереди глазом моргнуть не успели – переключался в карман к Митричу, швейцару. А Митрич-то на лицо – пьянь беспробудная: вся рожа красная, а носище – так тот аж лиловой сливой торчит. И в чёрную крапинку. Точно в червоточинах. Но мне, сами знаете, с лица воду не пить.

Надо сказать, намаялся я от безделья, по карманам да кошелькам кочуя, – дальше некуда. Одно расстройство: за две недели ни одного существенного оборота, а постарел едва ли не на полгода. Ну а Митрич – тот ещё гусь. Обманул он мои надежды самым бессовестным образом: не пропил, в оборот не пустил, как то следовало по всем приметам. Страшно сказать, что произошло потом. Бастилия! Не прокутил – о, ужас!!! – в матрац сунул, вместо опилок битком

набитый прочими рублями, трёшками да пятёрками. Изредка попадались и червонцы. Был, кстати, и четвертной. Даже каким-то ветром занесло туда моего американского кузена... Не матрац, а прямо-таки сберкасса.

Сначала, доложу я вам, взяло меня любопытство: что за хреновина такая?! Ну а как раз-знакомился с соседями поближе да узнал, что старожилы-то, будет, по пятнадцать годков гниют здесь, то чуть в трубочку от тоски не скрючило. Жутко стало, муторно! Тюрьма – она для всех тюрьма. Только клад, закопанный глубоко во сыру землю, может представлять собой нечто более зловещее. Представляете, в одно прекрасное утро вы просыпаетесь – в гробу, зарытом в могилу... и никому в голову не придёт откапывать. Неопишное чувство!

Как, спрашиваете, удалось мне выбраться на свободу? Чудом, одним только чудом!

Итак, выпил, значит, Митрич стаканчик портвейну на ночь, а с похмелья удар его хватил.

Три месяца, три долгих, томительных месяца испражнялся паралитик прямо под себя, то бишь на нас. К счастью, место мне досталось с самого края, у изголовья, так что бог миловал, а вот кое-кто из старожилков – тот истлел-таки. Не буду, впрочем, смаковать все эти мерзости, которых без содрогания не вспомнишь.

Наш тюремщик Митрич, хм, оказался на редкость крепким мужиком – только на четвёртый месяц, когда дела его, казалось бы, пошли на поправку, взял да и окочурился внезапно. То-то ликований было!

Вскоре, по неведению, наследники выволокли вонючий матрац на помойку и бросили там. Местные мальчишки, озорничая, в тот же вечер разодрали обшивку – ветер подхватил меня, закружил и понёс, и понёс, и понёс...

Пьянит, ох как пьянит, должен признаться, вольный ветер!

Но увы. И четверти хмельного часа не минуло, как отрезвел – в луже, в которой потом всю ночь, долгую ноябрьскую ночь напролёт я мок у подъезда. А раным-рано, спросонья не глядя себе под ноги, жильцы безжалостно втапывали меня в асфальт. Хорошо ещё, что там не грязь, не снег, а то вмяли бы, смешали – и, считай, пропал бы, как вы сказали, без вести.

Наконец, когда рассеялась серая, туманная мгла, пал на меня случайный взгляд дворника. Подобрал, подсушил на батарее.

Обсохши да обогревшись, пригляделся, а рожа-то у дворника – красная! У-у какая красная! Ну, думаю, влип: опять гипертоник. И с перепугу я там, на батарее горячее, чуть было не расползся на мелкие клочки. Ан нет, обошлось. После обеда дворник направил свой ковыляющий шаг к гастроному, где вполне буднично расплатился мною за две бутылки пива, ячменного. Ещё и гривенник на сдачу подфартило получить счастливчику.

Да вот, пожалуй, и конец всей этой печальной истории. Сами видите, жизнь изрядно потрепала меня, а как человек в первую очередь избавляется от старья, то напоследок довелось мне повертеться вволю: иному с лихвой хватило бы моего месячного кочевого оборота на целый год.

Намаялся, поизносился. А дальше... Ну, что ж, стоя у края, молюсь, заклиная фатум, чтоб, бросая жребий, перстом судьбы не указал мне на жальник вологий, именуемый кладом, как-то: матрац, на котором испражняется под себя паралитик, или мешок в подвале дома, который по ночам грызут мыши, или же иную какую яму во сырой земле.

Устало заключил свою прискорбную повесть мой ночной собеседник, и густая, ватная тишина заволокла помещение кафедры, выжимая малейшие шорохи. Мысли мои, если только то, что бесшумно ворошилось в закоулках сознания, можно назвать мыслями, были удручающе мрачными, безысходными.

То-то и оно! Нет, чтобы, как старче у рыбки золотой, востребовать у говорящего рубля воздаяния за хлопоты и милосердие (наследства, скажем, от богатого заморского дядюшки, местоположения, где клад зарыт, на худой конец – счастливого лотерейного билетика), так раз-

вёл тут целую демагогию. Он: я вам бесконечно обязан, проси, чего хочешь. В ответ: пустяки. Он: не в моих правилах быть в долгу. Я: ну так расскажите что-нибудь этакое забавное... Вот он и рассказал, а я уши развесил... да и приуныл от тех словесов невесёлых.

В сердцах сложил ветхий рублишко вчетверо да и сунул в нагрудный карман. Так-то покойнее будет... и полоумно рассмеялся в полуночной тишине: «Бред!» Кому скажи – не поверят. Это ежели двое добропорядочных сограждан свидетельствуют о том, как на их глазах в автобусе такого-то маршрута в такой-то день и час некто кому-то сунул два пальца в карман за кошельком, то это – факт; когда эти же двое твердят в унисон, вот те крест, мол, будто бы вчера на рыбалке нос к носу столкнулись с невиданным чудищем вроде водяного, так это – вот умора!!! – с перепития до самых зелёных человечков в глазах. Стало быть, почему бы не потолковать на досуге с рублишкой тет-а-тет по-человечьи, если ты чуток не в себе, а вот ежели в здравом рассудке – тогда никакого умопомрачения, ни-ни! Сон. Ночной кошмар.

Где-то часы пробили двенадцать ударов.

Да, я спал. Заснул глубоко и видел странный сон.

Проснулся. Время позднее. Вылил в рот остатки молока из пакета, прошёлся из угла в угол, разминая руки-ноги. Закурил папироску и без раскочки впрягся в работу...

Только под утро задворками выбрался из пугающе потухшего, помрачневшего здания института. Метель улеглась на ночлег до рассвета. Улица освещена луной и звёздами. Просто загляденье! Безветренно. Мягко покусывает разгорячённые щёки морозец. И кажется, будто в такую пору можно бесконечно долго брести, утопая по щиколотки в голубовато-белом искрящемся пушистом снегу. Однако не любит, ох как не любит столица пешеходов и умеряет их ретивость запредельными далями.

Увы, городской транспорт ещё не ходит, а вот у вокзала – такси всеношное. Туда я и направил свою скрипучую на снегу поступь, проложив борозду, обновившую меж сугробов тропинку к привокзальной площади. Пospел в самое время, как раз перед прибытием дальнего поезда, – вскоре за спиной вырос длиннущий хвост, ошетилившийся неподъёмными чемоданами и сумками.

Даже ноги закоченеть не успели – я уместился на заднем сидении такси, которое, сорвавшись с места и вихляя задом, заскользило по широким свободным улицам. Не то чтобы размогло по дороге или укачало, но в сон, точно, клонило – и сон не сон, и явь не явь, а так, марево какое-то, салат из мыслей и видений, сдобренный пробегающими за окном такси картинками ночного зимнего города. Тем короче показался путь.

Машина замерла напротив моего подъезда, у столба с погашенным фонарём. На счётчике – 3 руб. 20 коп. Ни то ни сё, подумалось. Протянул таксисту трёшку... и замешкался в растерянности: в кармане, помнится, ещё две трёшки, да две пятёрки, да четвертак. Открывая карман шире, сдачи не получишь. А мелочь... в ящик письменного стола высыпал да и забыл. Сколько там? Рублей пять, кажись?!

«Эй-ей!» – вдруг как бы слышится (или чудится?) встревоженный шепоток.

– Да-да, я сейчас, – отвечаю, краем глаза поймав вопросительный взгляд шофёра, и тут же – ба! – а где же рваный рубль, что подсунула мне в магазине полоумная кассирша? Это-то мне не приснилось! Да вроде как нет.

Я сунул два пальца в нагрудный карман пиджака – есть, нащупал! – и осторожно, чтобы не дорвать окончательно, извлёк на свет божий тот самый... хм, а рубль-то аккуратно с двух сторон подклеен папиросной бумагой! Значит, не приснилось? Неужели нет?! Или же сперва подклеил, а затем приснилось...

Чиркнул спичкой, якобы не терпится закурить, и мельком глянул в свете неровного пламени на рубль:

БО 257 – прореха – 680...

Да-а, дела!

– Время идёт – счётчик не тикает... – недовольно забурчал таксист.

«Денежка не капает – не дело: простой...»

– Будет тебе брюзжать – вертись на здоровье, – ответил ему вполголоса, напутствуя, и протянул таксисту рубль: – Извините за заминку. – И обоим напоследок: – Счастливого пути!

– Что ж, и на том спасибо, – ответил таксист, очевидно полагая, будто его напутствую, и отчего-то пожал в недоумении плечами. – Чего такой драный-то? Поновее, что ль, нет?

– Какой есть. Не устраивает – могу новый нарисовать.

Таксист хмыкнул вместо ответа.

Стоит ли мелочиться и высидывать восемьдесят копеек сдачи?! Такси не то место, где на сдачу можно рассчитывать. Да и устал я изрядно, чтобы под утро препираться ещё и с таксистом. Домой бы поскорее, стаканчик горячего чайку – и спать, спать, спать.

– Спасибо, сдачи не надо, – сказал я и открыл дверцу машины.

Тут таксист попридержал меня за рукав:

– А сдачу?!

Нда-а, нет слов...

Смущённо подставил ладонь, сунул мелочь в карман, однако ж, захлопывая за собой дверцу машины, неожиданно услышал шепоток: «Не обольщайся, впрочем, хи-хи-хи...» Рука дрогнула, и дверца машины от неуклюжего движения захлопнулась лишь наполовину. Я опять открыл её и с силой плотно захлопнул, в промежутке услышав непонятное: «До встречи. У столба на развилке трёх дорог».

Такси растаяло в ночи быстрее, нежели клубы пара из его же выхлопной трубы.

Постоял, озадаченный, в раздумье на предутреннем морозце среди запорошённого снегом тротуара, у столба с погашенным фонарём, напротив собственного подъезда: при чём тут столб?! Ничего не понял. Докурил в три затяжки папиросу и, неопределённо махнув рукой, устремил свой шаг к дому.

В предутренней морозной тишине за спиной выстрелила дверь подъезда. Вдоль по улице побежало эхо.

Ищу ключом замочную скважину в полутёмном коридоре – дверь сама навстречу отворяется. В проёме заспанное лицо жены, глаза таращит, поддерживая таким образом веки, готовые вот-вот сомкнуться. Крепится.

– Тиш... – с порога шикнет, упреждая всякий шум, и улыбнётся, протягивая для объятий руки. – Я так ждала, так соскучилась.

Войду, сниму пальто, разуюсь. Она меж тем о чём-то спрашивает шёпотом – я отвечаю, тоже шёпотом, и спрашиваю. Поцелует, поставит чайник на плиту. Догадывается, что чаю мне, уж точно, не дожидаться. И я знаю наверняка, а потому и не ложусь, и не сажусь, и не прислоняюсь...

Откуда-то издалека донесётся голос (это она, мне кажется, спит на ходу), и я открываю глаза пошире: нет-нет, дескать, я ещё не сплю.

– Ты ложись. Заварится – принесу в постель.

– Горяченького страх как хочется...

– Ты иди, ложись... Да, ты как завтра? – слышу, спрашивает меня.

С утра занятий нет – на кафедру не пойду. Пошли они все! После обеда ученик, вечером две пары...

Отвечаю, то ли кажется мне, что отвечаю, а ноги сами несут к кровати, в тёплую постель. Голова касается подушки – проваливается в нечто мягкое и бездонное, и кружит, и качает, и баюкает, а за окном опять метель колыбельную напевает...

Открыл ключом дверь. Жена не спит, дожидается мужа с работы. Что-то, по-видимому, читала на кухне. На лице написано облегчение: наконец-то, явился.

– Зарплату получил?

– Аванс.

– Какая разница?!

Выложил на кухонный стол четвертак, две пятёрки, две трёшки...

– Чего так мало?! А где ещё десятка?

– Какая десятка?! Вот всё. – Выгреб из кармана сдачу мелочью, от таксиста, и тоже высыпал на стол. Чуток заначить, видать, не судьба. – Вечером перекусил – рубль. Такси – трёшка с хвостиком. И мелочи рублей на пять в ящике стола, на работе. Забыл. Завтра принесу.

– Ничего себе мелочь, говоришь! Я вон Зинке трёшку второй месяц отдать не могу. Соседке снизу пятёрка. Маме десятка... А у него – подумаешь, какая мелочь?! – пятёрка. Что б я так жила: на ужин, на такси, да ещё в ящик на работе... Хороший у тебя там ящик! Не ящик, а настоящая копилка...

– Ну ладно тебе, не ворчи. Сказал же, завтра. Куда им деться?!

– А эту мелочь почему не оставил в своём драгоценном ящике?

– Я же говорю: это сдача от такси...

– Сказки он будет рассказывать! Где ты видал таксиста, сдачу мелочью отсчитывающего?

– Не веришь – иди и спроси.

– У кого, у метели за окном?

Препираться, однако ж, устала – допрос на том прекратился.

– Давай пей чай и ложись спать. Поздно уже. И не шуми. Полночи из-за тебя не спала.

Вся извелась...

– Чего нервничала-то?

– Тебя ждала. Ночь на дворе, мало ли что?! И не кури.

– Я в туалете одну, после чая перед сном.

– Одну, не больше. В холодильнике там чуть колбаски. Лучше на утро оставь. Есть котлеты, картошка жареная. Белый хлеб свежий, чёрный не очень. Если хочешь, борща подогрею.

– Нет-нет, я не хочу. Я только чайку горячего и, может, бутерброд с маслом.

– Есть простое, есть шоколадное... Ну всё, я пошла. Не забудь свет на кухне погасить. И чашку за собой помой.

Она поцеловала меня, – понюхав, подумалось, не пахнет ли чем посторонним? – и пошла с миром спать.

– Спокойной ночи, – пожелал ей вдогонку.

– Чшш, – улыбнулась на прощанье и прошептала: – Спокойной ночи.

«У столба, на расстани дорог, остановился путник. Он так бы привычно и брёл, одолеваемый скукой от унылого однообразия стези своей, пока в конце концов не изнемог бы. Теперь, однако ж, перед ним лежала не одна, а три дороги, и он не знал, какой из них следовать. Озадаченный, почесал затылок, оглядываясь в мыслях на пройденный путь, и вдруг осознал, что его гложет любопытство и зависть: если выбрать любую из трёх дорог, то уже никогда не узнаешь, а что было бы, если б выбор пал на иную. Натрое, увы, не расслоишься. Свобода выбора! Время между тем неумолимо бежало вперёд, обгоняя всякого, кто задержался в пути.

– Ты чего, как дурень, стоишь у столба на развилке трёх дорог? – вдруг он услышал голос, звучащий ниоткуда и отовсюду сразу.

– Я не знаю, куда идти, – признался путник. – Подскажи, если сможешь.

– Что ж, дам тебе совет, – отозвался голос. – Перед тобою три дороги: короткая – и полная приключений, средняя – и тернистая, длинная – и скучная. Какую ни выбирай, а впереди всё равно тупик, ибо как нет дорог без начала, так и нет дорог без конца.

– Ты обещал мне дать совет, а сам поучаешь.

– Расслышал мой голос – услышь и совет, который дорогого стоит: откажись от выбора – и это тоже выбор.

– Но не могу же я, как штырь, вечно торчать здесь! Ведь каждая странь, как ты сам давеча, будет шпынять меня: чего, мол, стоишь, как дурень, у столба на развилке трёх дорог?!

– А ты не стой! Ни пространство, ни материя, а время – вот единственная вселенская сущность, которую человеку ни нагнать, ни постичь. Ежели сам собою полон, то погрузись вовнутрь, – или же выйди вовне, ежели устал от собственной бездарности.

Голос умолк, и как ни звал его, как ни умолял путник, тот не откликнулся...»

Из комнаты доносилось сладкое посапывание. За окном кружила метель, не чая рассвета. В доме напротив один за другим зажигался свет в окошках. Рука невольно рисует в конце исписанной страницы столб, а к нему, как к древку стяг, набрасывает жёлто-серый лоскут с водяными знаками. Они-то, эти чёртовы водяные знаки, хуже всего поддаются перу художника.

Тоска Погас свет в окошке

У бога за дверима лежала сокира.

Тарас Шевченко

І. Бегемот

Шли медленно, останавливались на ходу, как любят делать русские.

П. Д. Боборыкин. Труп

Я поспешал, если только можно назвать спешкой суетливое, но отнюдь не быстрое скольжение по обледеневшему в северной тени зданий тротуару. Из-за поворота, подмигивая оранжевым огоньком, уже показался «Икарус».

Был конец октября. Для наших широт погода стояла и не то чтобы редкостная, но и не то чтобы так-таки привычная. Сперва подморозило, подсушило почву, затем на сухую мёрзлую землю упал нечаянный снежок. И не покрыл, и грязь не развёз, а так, припорошил слегка и держится. Опять припорошил. Лежит себе покоится белой самобранкой. Под снегом поутру ледок, к обеду, глядь, подтаёт, а всё держится, не сходит этот первый капризный снежок-нележок, которому ещё куда как далеко до настоящего покровного снега.

С непривычки нелегко сладить с движениями на столь каверзном пути, так что, набрав ход и не умея ещё как следует притормозить, я буквально влетел в полупустой салон автобуса и плюхнулся на заднее сидение. Зябко поёжился, поёрзал в поисках тёплой удобной позы, да и извлёк из-за пазухи газету, намереваясь на время недолгой окольной дороги занять себя чтением.

Не читалось, однако ж.

Выглянуло солнце, и яркие, ещё не остывшие лучи прошли немногочисленный салон. У самой двери, по-видимому готовясь к высадке, ворковала парочка – парень с девушкой. Прислонившись спиной к стеклу, на задней площадке тряслась одинокая женщина; из-под мышки у неё торчала чуть заострённая милая моська с круглыми, точно пуговицы, навывкате глазёнками: карманный гладкошёрстный пёсик чем-то отдалённым напоминал свою хозяйку. Именно этим неожиданным подобием женщина с собачкой и привлекла моё внимание. От нечего делать, я исподлобья присматривался к ней.

Образа интеллигентного, зашедшая в своих летах где-то до тридцати – тридцати с хвостиком, ростом женщина была невысока, сложением сухощава, просто и вместе с тем со вкусом одета. Издалека, при взгляде мельком, она, безусловно, производила впечатление. Не то чтобы интересна, нет, – пожалуй, так себе, но не безлика, не простушка. Первое впечатление, однако ж, бывает обманчиво. Чуть приглядевшись, чётточка за чётточкой, художник наверняка разглядел бы в ней субстанцию для вдохновения и из некой особенности, которой, без сомнения, она была наделена, сотворил бы изюминку, озаряющую своеобычной красотой весь её лик. Определённый ракурс, игра света и теней, толика ретуши – изменили бы образ в завидную сторону. Увы, я не художник, хотя и не обделён некоторыми художественными вкусами, поэтому меня прельстила не столько её внешность, сколько абрис в целом. И этот её образ вызывал у меня симпатию.

Автобус остановился в тени одной из серых шестнадцатизэтажных башен, что вежами торчат по полукруглой обочине бульвара. Едва разомкнулись двери, как парень прыгнул со ступеньки вниз – поскользнулся, взмахнул руками, но, отплясав замысловатое па, таки устоял на

ногах; следом за ним осторожно, опираясь на галантно протянутую руку, вышла девушка, что-то кокетливо бормоча.

Ещё издали в запаздывающем пассажире, что юзом, на прямых ногах, скользил к открытой задней двери, я узнал нашего участкового телемеханика, и в предчувствии неминуемой сшибки едва сдерживал невольный смешок. Видать, не чая уж затормозить на раскатанном льду, он парусами широко раскинул в стороны руки. В самый последний момент парочка расцепилась. Мастер бочком умудрился проскользнуть в образовавшуюся брешь, оттолкнулся ото льдом мощённого тротуара и слёту вскочил на подножку автобуса. Перелетев через ступеньку, он по касательной притормозил плечом о стояк (от толчка салон будто встряхнуло) и ухватился за поручень над моей головой. Кисти его рук были примечательны смуглой кожей да узловатостью вен и прожилок, что, вздувшись, сплели густую голубовато-серую сеть.

Водитель немедленно затворил за ним двери, и автобус, натужно кряхтя, тронулся с места.

Я кивнул мастеру, приветливо улыбнулся, невольно шевельнул губами: здрасьте, дескать, вы меня, наверное, не узнаете, потому как всех нас не упомнишь, а я вот узнал... и помню.

Он кивнул в ответ на моё «здрасьте». То ли узнал, то ли нет, но, как мне показалось, слегка смутился.

– Через пустырь не пройти, – промолвил, словно оправдываясь, и потупил взгляд. На его туфли рантами напозла глина, и ржавой стрункой досады киксанул голос: – Где-то вляпался.

Я сидел – он стоял рядом и, держась за поручень, нетерпеливо, как если бы нервничая, переминался с ноги на ногу. Бросал угрюмые взгляды в окно, что-то там высматривая.

Неловко читать в присутствии как-никак, а знакомого, и сидеть с раскрытой газетой – тоже неудобно.

– Я обменял свой телевизор, – наконец, я нарушил молчание, произнеся первое, что подвернулось на язык. – Новый взял. И заодно на трансформатор раскошелился.

– Опять «Славутич»?

– Нет, «Берёзка». – И подумал при этом: «Узнал-таки».

– Почему не «Рубин»?

– Не было.

– Ну, впрочем, хрен редьки не слаще. Как трубочка?

– Мне выбрали.

Он понимающе кивнул.

– Если что – звони. Кстати, как поживает Алиса?

Я так и не успел ответить, как поживает моя кошка Алиса. Автобус остановился, и женщина с собачкой устремилась было к выходу, – на подножку, заслоняя собою проём, порывисто вскочил мужчина. Коренастый, лет пятидесяти, в старомодной тёмно-зелёной болоньевой куртке на меховой подпушке, он шагнул ей навстречу.

Отступив, затем и вовсе попятившись, женщина прикрыла ладонью свою собачку. Между тем двери захлопнулись – автобус тронулся с места.

– Тот, кто наступает на ногу и при этом не извиняется, тот – бегемот, – несколько мгновений спустя вдруг выговорила женщина спокойным, ровным голосом, причём негромко, вроде как ни к кому в частности не обращаясь, но так, чтобы слышали все, в том числе и мужчина, стало быть наступивший ей на ногу, и снова повторила раз сказанное по слогам: – Бе-ге-мот!

Ни сварливости, ни раздражения, ни досады – ничего этакого задиристого в тоне её речи не было, прозвучало как будто бы бесстрастное утверждение, и только-то.

Бегемот, однако ж, круто обернулся. На виске вспухла жилка, и хронометром отсчитывала секунды. Заметно подёргивалась чуть приотвисшая челюсть да едва зарозовели одутловатые щёки. Как если бы он хотел высказать в отместку нечто этакое, мужиковато-язвительное, но, задохнувшись, то ли нужных слов не находил, то ли не смел прилюдно дать отповедь, и лишь буравил ей дыру меж лопаток своего взгляда жгучим прищуром.

С невозмутимым видом поглаживая собачку, в ожидании следующей остановки женщина переминалась у выхода – как ни в чём не бывало спиной к Бегемоту, словно бы не она ядовито молвила и не на неё с любопытством глазели, ухмыляясь, зеваки. Я сам ощутил, как в ожидании развязки во мне вдруг что-то напряглось, и вместе с тем неловкость, неудобство – отчаянное желание, чтобы всё это, наконец, разрешилось.

Автобус затормозил. Разомкнулись двери. Женщина с собачкой вышла. Бегемот резко отвернулся к стеклу, и на его пятнистых от прилившей краски скулах зло заходили желваки.

За окнами ярко светило полуденное солнце. С южной стороны бульвара талый снег и оплавленная грязная наледь уже образовали трудно проходимую жижицу. Здесь, на окраинных неухоженных улицах, в сырую пору обычно грязно и слякотно, в засуху пыльно и душно, а нечто среднее случается немногим чаще праздников да субботников. Она, однако ж, беззаботным живчиком прыгала с кирпичика на кирпичик, с досточки на досточку – будто по мосточку играючи скакала через огромное болото, разлившееся по всему тротуару за автобусной остановкой. Ни разу не поскользнулась, не потеряла равновесия.

Я глядел ей вслед, напрочь позабыв о Бегемоте, и невольно улыбался. От её походки так и веяло достоинством. Весь её облик свидетельствовал о многом – о высокой степени её цивилизации...

Вдруг поручень содрогнулся от удара.

– Сука! – сквозь зубы яро процедил в сердцах Бегемот.

– Урод! – с вызовом парировал мастер и, развернувшись грудью вперёд, прямым задирстым взглядом встретил озлобленный прищур Бегемота.

Воздух в салоне вмиг загустел от напряжения, так что неожиданный скандал завис над головами пассажиров, точно бы грозовая туча в низких небесах за мгновение до разряда. Бегемот двигал желваками, потупив глаза в бессильной злобе.

Я был изумлён. Я не понимал, что происходит, отчего и почему. И нервничал тем более, чем долее затягивалась предгрозовая тишина.

Тут двери открылись, и Бегемот соскочил, причём как-то ссутулившись, вжав голову в плечи, точно бы пытаясь уменьшиться в размерах.

– Следующая наша? – спросил мастер, и в его голосе я расслышал дрожь.

– Да, нам выходить, – ответил ему в растерянности.

– Этот... – Мастер было приуменьшил на полуслове. Мгновение спустя его голос зазвучал вполне буднично, без надрыва: – Меня уволили с работы. Участковый пообещал засадить лет этак на пять. Ушёл из дома. И чтоб не зазря, я решил поймать, ухватить за ноги этого уroda и с размаху шваркнуть головой об угол... Глупо, наверное... Но так сгоряча и поступил бы, ежели б не дамочка с собачкой...

– А кто она?

– Понятия не имею, – пожал он плечами, хохотнув без задоринки. – А что?

Вместо ответа, я криво усмехнулся.

Автобус остановился, открылись двери.

– Жена к теще уехала, – сказал, когда вышли из автобуса, и сам не понял, зачем сказал.

– Ох уж эти... – недосказал он, кто же эти, жёны или же тещи.

Однако ж, кажется, мы с полуслова понимали друг друга. Шли медленно, приостанавливались, как любят делать размышляющие на ходу люди.

– Возьмём, может, бутылочку да раздавим с тоски? – вдруг я предложил по наитию, а осознав слетевшие с языка слова, пуще прежнего ввёл в искушение: – У меня в холодильнике полная кастрюля борща да кусок доброго сала...

Мастер стал как вкопанный посередь дороги, уставился мне в глаза своими серыми, в болотную крапинку глазами... и, недолго думая, от безысходности пожал плечами.

Мы двинулись, ускоряя шаг, по народной тропе – не к церкви, не к кладбищу, а к винному магазину.

II. Мастер

В сущности, всё делается по глупости, только никто не признаётся в этом, кроме русского человека, и все ищут всегда и во всём умных причин и объяснений и потому идут всякий раз направо, когда следует идти налево, – и запутываются дальше и дальше в безвыходных соображениях и затемняющих обстоятельствах.

А. Герцен. Скуки ради

Месяца с два тому назад, придя по вызову, мастер первым делом обратил своё внимание на мою кошку, что уж вертелась под ногами и, вся настороже, с любопытством принималась к пыльным растоптанным сандалетам пришлеца.

– Какая киса! – восхищённо воскликнул он, приседая на корточки. – И как изволите вас жаловать, красавица?

– Алиса, – охотно ответил, разумеется, я, поскольку ни ясные изумрудные глаза, ни даже величественно вздёрнутый веером кверху пушистый хвост не могли бы при всём кошачьем желании молвить в ответ человеческим голосом.

– Алис-санька? Какое чудесное имя! – воскликнул мастер, и, взяв кошку на руки да почёсывая ей за ушком, поглаживая меж ушек, он прошёл следом за мной в комнату. Ей, мурлыке этакой, ласка чужих больших рук, к моему величайшему изумлению, показалась вполне приемлемой. Чуть кольнула ревностью обида: предательница! – Ну, киса Алиса, пойдём-ка поглядим, что же приключилось с вашим голубым глазом в большой мир.

Я сказал себе: «Животные к нему льнут – люди, стало быть, не больно жалуют», – а вслух принялся в деталях, с пристрастием, описывать все те перипетии, через которые прошёл с тех пор, как чёрт дёрнул меня взять в рассрочку на два года цветной телевизор стоимостью аж в 665 целковых. Иначе, если копить, то полгода ни есть, ни пить – всю зарплату едва не до копеечки откладывать. Старый верный чёрно-белый «Рекорд», как водится, сдал на обмен, а новый, который цветной, и месяца не радовал глаз – ни с того ни с сего вдруг сгорел; пришли, исправили – через пару дней снова не работает; опять вызываю, чинят – и опять сломался. Время идёт, ежемесячно с зарплаты по 25 рубликов выдирают, а телевизор стоит и красуется, точно в музее бесполезных вещей.

– У меня справка на обмен, – объясняю, – а Мострансагентство не принимает. Как-то не так, видите ли, опломбирован. Ни сдать, ни смотреть не могу.

Мастер, по-прежнему пестуя кошку, терпеливо выслушал, кивнул и спросил, кто был по вызову.

Я ответил, что фамилии не помню, но приходил этакой невысокий, грушевидный, в клетчатой рубашке и с вислыми усами. Да вот, собственно говоря, и справка. В ней всё чёрным по белому писано.

Улыбнувшись моим словам, он отпустил кошку на письменный стол, прогладил большим пальцем переносицу по шёрстке меж глаз, шепнул ей напоследок ласковое словцо и приступил к ремонту. Отсоединив провода, он обхватил телевизор поперёк и легко развернул его задом наперёд, панелью к себе; затем, поругивая какого-то Потапова, споро принялся орудовать в чреве аппарата пинцетом и паяльником. Вскоре он привинтил заднюю крышку, залепил пластилином винты, наложил пломбы, развернул тем же манером телевизор экраном наперёд и включил.

– Плита на кухне электрическая? – спросил мастер, складывая в сумку инструмент.

Моя кошка всё это время, как зачарованная, терпеливо восседала на самом уголке стола и с любопытством отслеживала его каждое движение.

– Да. А при чём тут плита?!

– А при том, что электрические плиты и цветные телевизоры в одном доме не уживаются. Надо купить стабилизатор и никогда никому не признаваться, что вы включали свой аппарат напрямую в розетку.

Я слушал и ушам собственным не верил: что за несусаица?!

– Справочку на обмен, разумеется, я выпишу новую. Пока то да сё, можете смотреть. Но только без красок, в чёрно-белом изображении. Хотите – меняйте аппарат целиком, не хотите – я заменю вам цветоблок. Перегорел. Надо будет повторный вызов оформить, заявку на запчасти... – Он сел к столу заполнять справку на обмен. Кошка тут как тут – уже на коленках. Заполнил и протягивает со словами: – Советую сверху дать червонец продавцу, чтобы тот выбрал трубочку поярче, а в паспорт шлёпнул бы печать без даты...

Вдруг, переменив тему, он перевёл взгляд на томик «Истории Древнего Востока», что покоился тут же, на письменном столе.

– А вы, гляжу, историей увлекаетесь? Для души или как?

Я ответил, что историей, пусть так, любопытства ради, интересуется, наверное, всякий образованный человек.

– Ну, не скажите! Как говаривала моя бабушка, всякий образованный человек должен уметь лишь две вещи: знать иностранный язык и владеть музыкальным инструментом.

– История не математика, – то ли возразил, то ли согласился с ним, – и любой, начитавшись всякой беллетристики, уж мнит себя знатоком. А у многих к тому ещё и неоспоримое мнение имеется.

– Но ведь не всякий ветхие монографии читает! Небось, ещё и на ночь глядячи?!

Я неопределённо пожал плечами, не зная, что на это ответить.

– Некогда, кстати сказать, было весьма популярное издание. Но теперь... э-э... слишком, что ли, упрощённый взгляд на вещи? Идея впереди мысли, а мысль поперёд явлений и фактов. Например, Ассирия.

Мастер чуть прищурил глаза, и черты его лица застыли, приобретая отчуждённое выражение, с налётом то ли ожесточённости, то ли непримиримости. Кошка спрыгнула с колен, и он встал из-за стола. Ещё и руки, согнув в локтях, приподнял как крылья, растопырил пальцы. Голос грянул мажорным аккордом – со страстью, с непоколебимой убеждёностью:

– Стать владычицей над народами и землями. Подмять под себя всяк и всё. Вот неукротимая идея: вселенская власть, всегда правая и непогрешимая.

Меня вообще-то всегда коробит, когда кто-либо с апломбом изрекает истины. И не суть важно, что он говорит, главное – как. Пускай и не без театрального жеста. И тем не менее я слушал без позывов прекословить.

– В воины идут поголовно все зрелые крепкие мужчины, следом тянется молодая поросль. За ними – женщины. Ассирийцы боле не мастера, не мужья – нет, они воины. Империя пожирает собственную страну, и в строй призывают уже из тех племён, что под рукой. А в конце концов, разбухши безмерно, империя вдруг лопнула, взрывом разметав остатки ассирийцев и тех, кто с ними сроднился, по всему белому свету. Почти в любой будке, даже в центре Москвы, едва ли не на Красной площади, в лице чистильщика обуви можно распознать черты потомка воинственного племени... Тоже своего рода империя – чистильщиков.

И заключил, как будто подвёл черту под сказанным:

– Хотя и примитивно, но ведь живо, чёрт побери, написано! А вы как думаете?

Честно говоря, я раздумывал, скорее, над тем, не выключивает ли он столь своеобразным способом трёшку «на чай», однако возразил:

– Ну почему же примитивно?! Аллюзия – намёк на скрытый смысл.

– Разве что: умный, дескать, поймёт и извлечёт мораль... Сами-то верите в уроки? Уж самой истории не разглядеть – сплошная идеология. А чистить от этой шелухи кто будет?

Слово за слово, и интонации стали мягче, в голосе зазвучали эпические нотки. Тем не менее, меня не покидало ощущение, будто он продолжает в моем лице кому-то что-то доказывать. Он заговорил о Шумере, об Аккадском царстве, о Вавилоне, вернулся мыслью к Ассирии...

Мысль о чаевых я отмёл напрочь. Я был крайне удивлён, откуда обычному телемастеру знакомо довоенное издание «Истории Древнего Востока», как он вообще додумался сравнить царя Саргона с царём Салтаном и Гвидоном.

Словно прочитав мои мысли, он как бы невзначай обмолвился:

– Я ведь без пяти минут, ежели можно так выразиться, кандидат наук. А дальше... крутой вираж судьбы – и ты на обочине. До чистильщика чужой обуви пока ещё не сподобился, но вот по домам уже хожу, чиню телевизоры.

– Историки, – я не удержался, чтобы не съязвить, – испытывают сложности с трудоустройством?

– Да, – усмехнулся мастер не без горечи и посмотрел на часы, – у меня действительно были сложности с трудоустройством.

– Чашечку кофе? – предложил ему и досадливо подумал: «Кой чёрт дёрнул за язык?!»

К моему величайшему сожалению, мастер охотно согласился:

– Не надейтесь даже, не откажусь.

Я заварил в турке своего особенного кофейку – чёрного, с солью и молотым кардамоном, подал к столу бутылочку ежевичной наливки и подсолённые чёрные гренки с маслом. Моя Алиска не преминула уюоститься на коленках мастера и, щурясь да мурлыча, вылизывала шершавым розовым языком намащенный о гренки палец, который он подсовывал ей к их обоюдному удовольствию.

На минутку задумавшись, как если бы погружаясь в воспоминания, он вдруг сказал – отвечая на немые вопросы, которые разглядел, должно быть, в моём недоумённом взгляде:

– Да вы только посмотрите на мои руки!

Любая женщина позавидовала бы его утончённым кистям рук с аккуратными ловкими пальцами и вытянутыми узкими розоватыми ногтями. Такие руки, кажется, вообще не требуют ухода. А если бы им чуток ежедневного внимания, то их можно было бы назвать холёными. Причём не женственные, а большие крепкие мужские руки, с густой сетью голубых вен и прожилок, но только благородные.

– Моя бабушка – из поместных дворян, то есть из бывших... – Тут он запнулся на полуслове, заприметив, как невольно дёрнулись уголки моих губ, и таки оговорил: – Вы напрасно ухмыляетесь. Я вполне серьёзно – о гордости и о презрении.

Я посмотрел на свои руки, тоже с удлинёнными пальцами и опрятными вытянутыми ногтями. Ничего особенного, чем так уж стоило бы гордиться: разные бывают у людей руки, уши, глаза, волосы... Проследив за моим взглядом, он, в свою очередь, тоже ухмыльнулся и продолжил мысль:

– Сколь ни глазей в бездну неба, ни витай в облаках грёз, а под ногами всё равно мать-земля сыра. Суета мирская да проблемы житейские, как трясина болотная, засасывают быстро и незаметно. Сами видите, теперь этими самыми руками не бумагу мараю, а телевизоры чиню. И всё ради хлеба насущного. Так, видать, человек устроен, что сутью его создания является не душа или разум, а желудок да глаза завидующие. Глупость и вездесущий случай – вот рулевые судьбы нашей.

Задумался он на чуть, да и сменил философический тон на меркантильный:

– Кстати сказать, если желаете, могу, так и быть по знакомству, устроить вам занимательную штучку – телевизионный магнитофон. Слыхали, небось, о таком чуде техники?

– Спасибо. В кино видел.

– Так как?

– Не по зубам будет, точнее, не по карману.

– Да уж. Что верно, то верно. А жить надо по средствам, но средств для той жизни, которой хотелось бы жить, не хватает, ведь так? То-то и оно!

«Где-то, – подумалось, – я это уже слышал, причём не так давно».

– И мне тоже не хватает. Человеком можешь ты не быть, а кормильцем стать обязан. Я неопределённо повёл плечом, к потолку обращая свой взгляд.

– Наверное, подумали. Вот, блин, Баян недоделанный! Растекается тут словесами по древу, подачку на чай вымаливая?

Заметил, верно, моё замешательство, и кривизна ухмылки исказила черты его лица. Он закурил, прищуривая один глаз, как это иногда поневоле делает рассказчик в минуту душевной слабости, когда одолевает приступ откровения, а другим глазом сквозь клубы дыма, тем не менее, оценивающе присматриваясь к своему собеседнику, стоит ли тот его исповеди. В этот момент будто дуновением тёплого ветерка повеяло от него.

– Бабушка умерла – и с её уходом моя последняя опора в этой жизни рухнула. – Дымя папироской, повёл мастер свой рассказ. – Не похоронил, не простился. За тот год, что после института защищал рубежи отечества на дальних подступах, она умирала в одиночестве – от старости и болезней сердца. Дембельнулся – тут-то на меня, дурака, всё сразу и навалилось.

Киса Алиса, свернувшись калачиком у него на коленях, дремала и мурчала под его рукой; может статься, тоже слушала, как если бы принимала его исповедь за колыбельную.

– Поселился я в комнате, которую бабушка всеми правдами и неправдами сумела передать мне в наследство. Ни денег, ни работы – одни планы на будущее, а питаться нужно ежедневно, да и пяточки на транспорт на дороге не валяются. Пока решал вопрос с трудоустройством, с аспирантурой – пристроился посудомойкой в университетской столовой. Платили мало, но кормили сытно, ну а на карманные расходы, ежели питаешься мечтами, много ли надо?! Чтобы перебиться лето – вполне-вполне хватало.

По утрам, по пути в библиотеку, где знания, сами понимаете, в воздухе так и витают, но, увы, не так просто даются, заскакивал на почту: ждал бандероль до востребования, и тревога снадала, не затерялась ли где в почтовом вагоне на необъятных просторах страны.

«Не-ет, Рублёву не-ет ничего. Заахадить, паажалуйста, заавтра», – растягивая слова, напевно отвечала миловидная девушка из-за окошечка. По-детски пухлые щёчки покрывались ямочками при улыбке, словно приглашая без особого сожаления зайти на следующее утро, чтобы услышать то же самое.

Заходил завтра и послезавтра – и так каждый день одну неделю, затем другую, третью. Дни бежали быстро, а ночей и вовсе не замечал. Высек уж мельчайший атом знаний, разумеется, из числа тех идей, что были упакованы в благообразные тома и расставлены на пыльных стеллажах вдоль стен библиотечного зала. Добытых знаний вполне хватило на то, чтобы убедиться, что сотни страниц, упакованные в ценную бандероль, даже внимания книжной моли уже не стоят. Какие бы убеждения или идеи ни одолевали пытливый ум – грош цена всяким выводам, если вытекают из мыслей и чувств, оторванных от явлений реальной действительности, от фактов былого и настоящего.

Тем не менее, упрямо спозаранку наведывался на почту, а Алёнка по-прежнему отвечала, не приходилось даже спрашивать: «А-а! Рублёв? Не-ет, Рублёву не-ет ничего. Заахадить, паажалуйста, заавтра».

В груди броили противоречивые чувства. Бандероль всё ещё ехала в поезде или летела в самолёте, а она знай твердила всё то же самое: «Заахадить заавтра», – но уже не улыбалась, а как-то странно заглядывала в самые глаза.

И вдруг однажды, через много раз по завтра:

«Рублёв! Коля!!! Тебе баандероль!»

Так долго ждал, что теперь ни радости, ни облегчения не испытал, хотя было любопытно взглянуть свысока на плод мысли былой, завядшей, как павший под снег осенний листок. Примерно то же почувствовала и Алёнка.

Бандероль была получена, однако утром следующего дня, согласно укоренившейся в сердце привычке, ноги сами привели на почту, чтобы вместо привычного: «Зааходить, паажалуйста, заавтра», – услышать: «Зааходи вечером. Я зааанчиваю ровно в семь. Не опааздывай».

Алёнка щебетала и при этом счастливо улыбалась.

Стал приходить на почту к закрытию и к открытию. А когда парки и бульвары подёрнулись грустной буро-жёлтой дымкой и первые белые мухи закружили свой хоровод в вышине, то уже шли мы с Алёнкой под руку, и она с ног до головы была в белом. При взгляде на её чуть округлившийся живот казалось мне: то был один из самых счастливых дней в моей жизни.

На том романтика, увы, исчерпала себя – наступили будни. Дочка вырастала из вчерашних платиц, жена ворчала, что денег мало, тёща пилила: иди работать на завод, зарабатывай деньги – нечего за книжкой, когда все нормальные люди спят, ночи просиживать. А когда ж ещё? Три года на одном дыхании, вернее – без передышки. И ничего не отложишь на завтра, не бросишь. Так, наверное, должен ощущать себя стайер за круг до заветной финишной ленточки: позади сорок тысяч шагов, которые тьфу в сравнении с той сотней, которые остаётся преодолеть. Каждый его шаг стоном вырывается из груди, болью отдаётся в каждой клеточке. Он готов сдаться за шаг до победы, но, сжав зубы, бежит, бежит, бежит. И победитель, ясно, тут не тот, кто первым пришёл, а тот, кто, пересилив себя, вообще добрался до заветной черты.

Быть может, помните – у классика: «В извращённом государственном строе хороший человек становится плохим гражданином, а в правильном строе понятия “хороший человек” и “хороший гражданин” совпадают». Но кто же из сильных мира сего признает в плохом гражданине хорошего человека?! Некий мудрец метко заметил: «Хорошо быть маленьким – в любую дырочку пролезешь, хорошо быть большим – в любую дыру не полезешь».

Меня правили и направляли, строчка за строчкой, мысль за мыслью, и я послушно правил себя, презирая. Бывают, думал я, обстоятельства, временные, преходящие, когда человек вынужден поступаться незначимым ради главного. Пожертвую пешку и возьму ферзя... Жизнь не шахматная партия, и жертвуют в ней, увы, не фигуры – жизни и судьбы.

Думаешь, зарубили? Нет! Много банальнее.

На носу защита. Жена с тёщей, как назло, затеяли не вовремя ремонт. Я, понятно, никакой: задёрганный и на взводе – едва ноги таскаю. Дочка без присмотра.

Ладил дверной звонок. Прошёл час, может, другой, когда Ксюха лепечет: «Папа! А, папа! А где Пуська?» Туда – сюда, бросились искать по всему подъезду: кис-кис-кис... Вдруг слышим – кто-то где-то мяучит жалобно. Наконец Алёна, жена, отыскала её двумя этажами ниже, в углу за стояком пожарного крана. Она её на руки – Пуська, как очумелая, рвётся прочь. Мазана-перемазана чем-то едким, маслянистым, вонючим. Мы её в ванную, я держу – Алёна хозяйственным мылом намыливает. Пуська утробным голосом воет. Ксюха слезами захлёбывается. Тёща орёт: оставь, мол, кошку в покое, плитку намочишь – отвалится!

Вскипело тогда во мне нечто дремучее, ужасное. Как глаза пеленой застило. Выскочил на лестничную клетку – заметался от одной двери к другой. Глядь, этажом ниже полы влажные. Запах – что запах?! Я так нанюхался этой гадости, что ничего не чуял. Палец – на звонок, что мочи давлению.

Дверь распахивается – и на пороге мужик с молотком в руке. Коренастый, руки волосаты, шея как у борова: «Чего надо?!» Я чуть было поостыл и говорю, мол, так и так, кошка у меня... не ваш ли сынок? А он мне: «Да пошёл ты, животное!» – и молотком замахивается. Молоток-то я у него вырвал из рук, а вот лбом, улучив момент, он так боднул, что аж искры полетели из глаз и всё враз потемнело. Едва устоял на ногах. Обхватил он меня обеими руками, упёрся макушкой в подбородок и давай ломать. Мужик крепкий, здоровый, в дом к себе тащит и на пол

валит. Кое-как вывернулся – опять за грудки хватается, придавил к стене животом и пальцами своими погаными к горлу тянется. «Я те, сука...» – рычит и уже впрямь душит.

Кое-как отпихнул.

Боров опрометью на кухню отскочил и уже оттуда с табуреткой наперевес семенит, боком примеривается, метит с размаху мне прямо в лоб. Тут-то я и... В общем, неудачно напорлся он на кулак мой. Табурет выронил – бух на колени да плашмя на пол.

Слышу, однако ж, истошный крик: «Мама, мама! Папу убили!» Сынишка его, подросток лет четырнадцати, бросился сзади на меня. Мамаша с криком: «Помогите, люди добрые, убивают!» – в глаза норовит ногтями вцепиться.

Шум – гам. Соседи повыскакивали. Милиция. Скорая помощь...

На суде потом зачитывали акт: выбит зуб и подозрение на сотрясение мозга. Отягчающие обстоятельства: я-де в чужой дом вломился. А с противной стороны адвокат: «подсудимый пытался научно обосновать право избранной личности не следовать общественным уложениям, но, благодаря истинным служителям науки, эти его изыскания были вовремя разоблачены».

Я, конечно, попытался что-то доказывать, а мне: слова, мол, не давали. А Боров тут и вверни: «Посидишь – остынешь, животное!» – и потешается, сверкая новенькой золотой фиксой. Известный, знаете ли, ход: бросить предмет и перейти на личности. Я взвился было со скамьи, а адвокат силком меня усаживает, председатель призывает к порядку, милиция на страже – меня не только усадили на скамью, но и посадили, присудив за хулиганство два года общего режима. Заменяли на химию, а затем по половинке, ввиду примерного поведения, освободили досрочно.

Теперь, вот сами видите, чиню телевизоры и прочую аппаратуру. Зарабатываю прилично. Жена довольна. Ну а теща – что ж, всем не угодишь...

Мастер глянул на часы и, вставая, чтобы откланяться, покачал головой:

– Извините! Засиделся. Разоткровенничался. Наверное, вот она, киса Алиса, во всём виновата. Навеяла грустные воспоминания. Пора, впрочем, и честь знать...

И замер на полуслове, когда так, между прочим, сдвинув томик истории в сторону, под ним обнаружил лист ватмана с карандашной зарисовкой. Он потянул лист на себя и спросил:

– Что это?

– набросок. Недрежущее, так сказать, око. Пока что искорка мысли в бредовом тумане, не более. Созреет ли до образа – не знаю пока.

Он внимательно осмотрелся по сторонам и опять спросил, вдруг переходя на «ты»:

– Это твои картины?

– Мои. Только я не стал бы их так обзывать. Это у художников картины, а я не художник, и мои – не картины.

– Извини, не хотел обидеть.

– Да ладно, ничего. Я привык, так что меня уже нельзя обидеть. Просто с их точки зрения, то, что вы называли картинами, является обыкновенной мазнёй.

Встал он и, подойдя к стене, увешанной холстами в самодельных рамках, принялся внимательно разглядывать.

Отчего-то вдруг занервничал я, хотя какое, собственно говоря, мне было дело до мнения телевизионного мастера?! Пускай он и историк недоученный.

– Чувствую, что-то неуловимое в этом есть. Ведь неспроста. Или как? Что это?!

Его взгляд зацепился за серое полотно – без абриса, без очертаний. Из теней. Те трепетные тени пугают, страшат и ужас наводят.

– Как будто газ какой, то ли смутный лик чудится...

– Как ни странно, в самую точку попали. Это Жупел собственной персоной.

– Жупел... – пробормотал, озадаченный.

– Пугало эфирное, – поясняю. – Нечто неведомое, нематериальное и кошмарное. Вездесущий ужас. Олицетворение страха человеческого.

Взгляд его выражал недоумение: как? зачем? – к чему и для чего?!

– Я и сам пока не знаю. Пятна, разводы, мазки, являющие сознание либо некую думу на полотне. И всё. Ничего вычурного. Просто этакая заумь.

– Я не понял.

– Хорошо, сейчас наглядно покажу.

Я полез за шкаф и достал «Тоску», а пока пристраивал её у окна так, чтобы можно было доходчиво продемонстрировать образ, на ходу тщился пояснить:

– Например, на полотне изображена роза. Вы видите каждый листочек, каждую прожилку на том листочке – цветок как настоящий, вы даже готовы потрогать руками. Но в реальной, а не выдуманной действительности, с расстояния, вы не можете видеть ни листочков, ни прожилок. Вас обманули! Цветок изображён не так, как вы его видите, а так, как вы знаете, каким он должен быть на самом деле. Напротив, вы вплотную подходите к полотну, которое вблизи пестрит разноцветными мазками, но по мере того, как отступаете, перед вами проявляются золотые шары в вазе – мазки сливаются, и на их месте проступает образ, пусть хоть листья и прожилки на полотне не прорисованы. Перед вами то, как вы видите, а не то, что вы знаете. Это одна ось. А вот, скажем, другая антитеза. На картине изображён человек, лицо в морщинах, руки натружены, на груди ордена и медали: вам не нужно напрягать своё воображение, чтобы признать в портрете героя своего времени. За вас и подумали, и вообразили, и ударения расставили. Вас наполнили этим образом, как бутылку какой-нибудь жидкостью. И наоборот: например, банальный чёрный квадрат. Для чего, почему – непонятно. А может быть, вы сами должны наделить его тем содержанием, которое живёт в вас, в связи с направлением чувств и мыслей, но в пределах заданной формы? Если в вашей душе нет ничего, то и в квадрате нет ничего. Ex nihilo – из ничего только Бог свет создал. Подобных осей, если речь идёт об искусстве, бесконечное множество. Допустим, здесь нарисовано как на фотографии, а там детские загогулины карандашом на бумаге. Это тоже ось, иная противоположность.

– Н-да, везде, так сказать, своя стена раздора...

Зашторив окно, я приладил «Тоску» на уровне глаз и в фокусе выставил барьером стул. Выключил телевизор. Подозвал мастера и предложил ему стать так, чтобы при взгляде на полотно иссиня-чёрный овал совместился с границами поля его зрения, если устремить задумчивый рассеянный взгляд в бесконечность. Выждал минутку-другую и спросил:

– Что вы видите?

– Белую смазанную... эфемерную... вертикальную линию и три яркие точки на иссиня-чёрном овале. Как будто точки мерцают вдаль, а не на полотне. Кажется, уже начинаю не чувствовать ног под собой... и теряю равновесие? Надеюсь, это не розыгрыш?!

– Нет, это не розыгрыш.

– Мнится, будто я теряю вес...

– Да, можете взлететь. Вопрос вот только: над чем парить будете?

– Не понимаю, но эфир влечёт...

– Да, манит. Наверное, я должен пояснить. Если вы правильно совместили угол зрения с абрисом овала и простояте минут дцать, отрешившись от суеты, то с моей подсказкой ощутите себя стоящим у окна среди ночи и взирающим на чёрное небо за окном, где сквозь тучи пробился свет трёх далёких безымянных звёзд. И притягивает... Главное, глядеть как бы вдаль, не на, а въ полотно. Сквозь материю.

– Да, и в самом деле. В этом что-то есть. Но надо научиться чувствовать.

– А кто сказал, что это должно быть легко и понятно всякому?

– Н-да, и каков же вывод?

– Надо простоять достаточно долго, чтобы проникнуться настроением.
– Какое должно быть настроение?
– У каждого, очевидно, своё. Каждый раз не то чтобы разное, но оттенки, верно, будут отличны.

– И настроение стоять, смотреть и, отрешившись, думать...
– Или не думать.
– А ведь в самом деле! Иногда человек ни о чём не думает.
– Или не осознаёт, что думает. А когда вот так часами некто может стоять у окна и глядеть сквозь оконное стекло на однообразно чёрное хмурое ночное небо, на котором сквозь тучи пробивается к земле мерцание трёх далёких звёзд, одиноких, для тебя безымянных и незнакомых? Когда?!

– И когда же?! Впрочем, глупый вопрос...
– Наивный.
– Когда тоска. Но отчего тоска?
– Не знаю. У каждого своя тоска. У одних – печальная, у других – горькая. А кому-то сладостно-мучительная.
– Но ведь не всегда же и не каждый глядит в чёрное окно, когда тоскливо!
– Значит, это такая щемящая тоска, которая заставляет безмысленно глядеть ночью в окно.

Я замолчал, позволив ему в безмолвной тишине наслаждаться чувством его собственной тоски. Прошло минут пять или десять – и ощущение времени будто притупилось, начиная таять. Я тронул его рукой за плечо. Он вздрогнул, но взгляда от полотна не отрывал.

Когда, наконец, мастер отступил на шаг от полотна, он закрыл лицо ладонями, как будто про себя бормоча что-то не вполне вразумительное.

Я был удивлён, но вида не казал – поспешил отдёрнуть шторы и, накрыв тряпкой, убрал «Тоску» на своё место, за шкаф. Он всё ещё, зажмурившись, растирал лицо пальцами.

– Была ночь, и я стоял у непроглядного окна, глядя на осеннее небо, – заговорил мастер, открыв глаза и щурясь от яркого света. – Остался осадок, какая-то грусть. И три мерцающие звезды... – Он выглянул в окно, за которым светило летнее солнце, и указал пальцем: – Живу я, кстати, во-он в том – видите серо-голубую шестнадцатизэтажную башню? – доме. Угловое окно на седьмом этаже – это кухня. Когда там ночью горит свет, значит, я не сплю и работаю.

– Ещё кофейку?

Он посмотрел на часы на руке, и мне почудилось... нет-нет, я не ошибался: ему не хотелось уходить.

– Кофейку? – Вдруг будто отчаялся – и прищёлкнул пальцами: – Давайте по кофейку! По последней чашечке. Всё равно я уже всюду опоздал. Скажу, что был тяжёлый клиент, и я спасал-де честь мастерской и доброе имя ни в чём не повинного механика Потапова. Не возражаете против такой маленькой лжи?

– Отчего ж я должен возражать? Я не против. Я самый настоящий скандалист.

Он говорит, а я смотрю на него и чувствую, что хотел он сказать что-то совершенно другое. Озарение снизошло на какую-то мириадную долю мгновения, так что я не успел осознать этого эфемерного чувства – и просто слушал.

– А этот Боров, кстати, съехал с нашего подъезда, – рассказывал меж тем мастер. – Нет, чего вы улыбаетесь? Ничего эдакого.

Я не улыбался – я просто прислушивался к себе, чуть-чуть забывшись.

– А кто вашу Пуську обидел? – спросил первое, что пришло на ум.

– Не знаю. Кто будет разбираться из-за кошки? Судили меня – за хулиганство и нанесение телесных повреждений. Адвокат говорит, что мне повезло. Судья всё-таки нашёл место

для смягчающих обстоятельств. Пожалел, наверное, несостоявшегося кандидата исторических наук.

– Ну да, судья оказался не лишённым обычных человеческих чувств, и такое в жизни порой случается. Ещё не очерствел окончательно. Иначе валить бы лес до сих пор где-нибудь в далёкой дремучей тайге?

– Тьфу-тьфу-тьфу! – Поплевал он через левое плечо, постучал костяшкой пальца по столу. – А история эта имела продолжение. Слышу я как-то, скандалят в приёмной. Вышел поглазеть. В ремонт сдают телевизор – вроде бы гарантийный, а пломбы вскрыты. Стало быть, копались внутри. Ремонт, естественно, за счёт заказчика.

«Какие претензии?» – спрашивает приёмщик, а Боров как увидит меня, так и завизжит в бешенстве: шарашкина, дескать, контора, сами посрывали пломбы, и вообще, не хочу, орёт и пальцем тычет, видеть эту хамскую рожу.

Вскипела тут во мне великая досада. Но отступил смиренно – от греха подальше. А на следующий день участковый имел долгую беседу с начальником мастерской, а потом и мне изрядно попортил кровушку. Знаете, как сказано у классика: кровь людская не водица. Вот и вся история.

– Нда-а, печальная история.

День клонился к вечеру. На прощание потискав Алиску, мастер пообещал заскочить однажды, в невесёлый час, на гостеприимный огонёк, чтобы как следует прочувствовать «Тоску» да развеять грусть-печаль. Я ответил, что буду ждать. На том и расстались.

Потом я долго переживал и даже корил себя, не понимая, что же здесь, во всём этом, было не так, как должно было бы быть. Словно за спиной тень проскользнула и даже ветерок повеял, ты оглянулся – поздно... и потерял.

* * *

Погода портилась прямо на глазах. Хмурая туча заслонила солнце, задул холодный колючий ветер, и с неба посыпал мерзкий снег, смешанный с дождём. Предчувствие долгой холодной зимы ввергало в уныние.

По пути от автобусной остановки к дому мы с мастером завернули в винный магазин: водочка, ежели не хватить неразумного лишку, снимает на время многие печали. Э-эх, рюмочку водочки занюхаешь рукавом, закусишь хрустящим солёным огурчиком, загрызёшь краюхой свежего ржаного хлебушка, намазанного слоем толчённого в ступе салыца с чесночком, да горячего борща похлебаешь... – как бы противно ни хмурились за окном небеса, а за трапезой, под душевный разговор, на душе становится теплее.

– С неделю тому назад, – рассказывает мастер, – иду по вызову, и что я вижу? Грузят в фургон мебель, узлы с вещами укладывают. Рядом суетится Боров – Бегемот, как его метко определила дама с собачкой. Обмен, стало быть. Тут, верно, чёрт меня и попутал.

Улучив момент, подкрался сзади, опустил Бегемоту руку на плечо и шепчу: с новосельем, ненаглядный ты мой, пришёл вот новый адресок списать – и, причмокнув губами, как что обыкновенное, поспешил удалиться, пока, обретя дар речи, он не поднял шум-гам на всю округу. Могу лишь догадываться, что взбрело ему на ум. Он аж посизел, изменившись в лице. Подумалось тут: эко перекосило, однако ж, беднягу!

Глупо?

Но разве я – не человек?! Ужель не имею права на махонькую вендетту?!

Вздыхнул мастер горько:

– Вчера утром вызвали к участковому, а вечером – к начальнику мастерской. Участковый пообещал упечь меня в места не столь отдалённые; начальник уволил «по собственному желанию» в один день; тёща заявила, что не намерена терпеть в доме своём уголовников, а жена обозвала придурком. И в один голос истерически заверили: ежели я хоть раз на пушечный выстрел приближусь к дочке – засадит на веки вечные.

– Да ладно!

– Нет, не ладно. Свои удавки судьба хитро сплетает. Сначала тоненькая ниточка, затем из ниточек верёвочка совьётся, а там, глядишь, петлёй на шее захлестнёт – не распутаешь, не оборвёшь, не вывернешься. Я точно знаю, ибо учёный уже.

– Да за что?!

– Кабы было за что, так не посадили бы – давно бы... на суку повесили. И никто бы не узнал, где могила моя.

Наверное, мастер прочёл в моих глазах нечто этакое, что настроило его на откровенный лад.

– А впрочем, чего теперь уж тень на плетень наводить! Я не фаталист, но точно знаю, что судьба предначертана свыше. Это как дорога, по которой идёшь и идёшь, не смея свернуть. Словно жупел гонит...

– Жупел?

– Жупел. Погоняет, понукает... Как заворожённый, не можешь заступить за ту черту заповедную. И вдруг будто в зеркале видишь отражение – всё то же, да не то. В ином соизмерении. Очнулся на мгновение – и соспустил со своей тропы за шаг до... Разве нам ведомо, что случится на следующем шаге? Нет. Но нутром чуем. Будем считать, что вы – и отвортили от беды неминуемой...

– Я?!

Рюмочка за рюмочкой – слово за словом, и вот такая история вышла из уст мастера.

III. Обратная перспектива

Казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: «Господи!»

Н. М. Карамзин. Рыцарь нашего времени

Взирая на зада, окна лекционного зала открывают вид, то бишь обратную перспективу, на внутренний трапезиевидный дворик, с курилкой при чёрном выходе, и по весне, да и ранней осенью, когда воздух прогрет и створки распахнуты настежь, аудитория полнится отзвуками жизни института с его изнанки. Этакая открытость зачастую изрядно досаждаёт, однако ж закупоришь наглухо помещение, затворив окна и задраив форточки, – душно и безотраднo.

Вот и в то утро, в самый канун лета, точно так же было.

На кустах сирени уж поблекли, пожухли цветы. У студентов испытания, а значит, в течение всего учебного дня в курилке дым коромыслом, гомон да смешки не утихают. Через распахнутое окно сочится вовне негромкий дребезжащий и срывающийся на высоких тонах голос профессора: «Ещё Карл Маркс подчёркивал, что государство тем богаче, чем меньшая его часть занята в общественном производстве».

В ответ со двора в аудиторию проникают механические шумы, подчас перекрывая голос профессора: то шофёр Вася ленно возится у старенького крашеного ЗИЛка, привычно поругиваясь с самим собой. Вечно в одной и той же замусоленной клетчатой рубаше, в бессменных лоснящихся от масел брюках, он чёрными по локоть руками крутит гайки, приподняв домкратом передок грузовика и подперев для страховки поленом едва не в обхват, – вполне привычный для всех натюрморт.

Наконец открутив гайки, шофёр Вася отбросил в сторону, на замасленную тряпку, ключ и обрезок трубы, исправно служивший ему рычагом, и, натужно кряхтя, снял колесо. Потянулся, распрямляя спину, вытер рукавом пот со лба и закурил. Так, попыхивая сигареткой, он стоял и задумчиво поглядывал то на колесо, то на свои натруженные руки.

Профессор меж тем вещал на зал и внутренний дворик: «Социальная структура общества – это мерило уровня развития цивилизации. В настоящее время в СССР трудящиеся слои и

классы составляют менее 50% от всего населения страны». Шофёр Вася, присев на край колеса, вздел глаза к приоткрытому окну и внимает. Поначалу было удивившись этакому праздному любопытству, затем смекнёшь: ага, стало быть, в ближайшее время ему улыбнётся случай блеснуть пред какой-нибудь прелестницей своей поразительной эрудицией. Нередко от человека, в общем-то весьма чуждого умственным занятиям, неожиданно услышишь острое по мысли и циничное по тону суждение по тому или иному вопросу политики ли, бытия ли, души ли – и потом долго ломаешь голову, ну откуда же взялась в нём эта глубина и безоговорочность?!

Вот шофёр Вася распотрошил пачку «Примы», переложив сигареты на сидение грузовика, и на внутренней стороне давай что-то там черкать огрызком карандаша, – должно быть, выводил на записку цифры, которые щедро изливались за пределы аудитории. С четверть часа новоявленный студент постигал азы политэкономии, а затем, видать, ему наскучило, и он, вернувшись к брошенному колесу, принялся вколачивать кувалдой металлические пластины между ободом и крышкой. Тух! Тух! Бзз... Пластины пружинили и отскакивали – одна на метр отпрыгнет, другая ещё дальше улетит. В конце концов, сверкнув в лучах солнца, последняя пластина взметнулась... Шофёр Вася сплюнул от досады, да и бросил кувалду себе под ноги. Работа у него сегодня явно не спорилась. Опять вытер пот со лба, закурил и, присев на край колеса, стал чертить спичкой на вытоптанном, утрамбованном клочке земли: в столбик, видать, складывал-вычитал.

– После перерыва всех желающих милости прошу на досрочный экзамен, – столь чаянным предложением профессор заключил предэкзаменационную консультацию, и его лицо исказила саркастическая усмешка.

Зал загудел: слухи о причуде стареющего профессора ещё намеренно малиновым звоном разлетелись по коридорам и закоулкам института. Тогда, лукаво ухмыляясь, профессор процитировал классика: «Ты сам свой высший суд, всех лучше ты сумеешь оценить свой труд», – и всем, кому была повадна «тройка», выставил в зачётку «уд», без опроса. Затем, всё так же криво ухмыляясь и придавливая ладонью изрядно похудевшую стопку зачёток, задался вопросом: «Что такое хорошо»? – и без опроса выставил всем желающим отметку, разумеется «хор». Идите и не мозольте, мол, глаза.

Шума, конечно, та выходка наделала немало, но шум был из ничего: лишь малая толика избранных отличилась. Их-то, трепещущих от собственной дерзости везунчиков, профессор задержал на часок-другой, тет-а-тет потолковал о превратностях судьбы, о жизни, об экономике, о политике – пожурил да надиктовал любопытные цифири, вроде того, как 1,5% советских граждан производят на арендуемой земле и сдают государству от всего валового продукта 78% зеленушки, 60% картошки, 33% яиц, 31% овощей, 30% мяса, 30% молока, 19% шерсти и прочее и прочее. Заодно объяснил, почему в магазинах напряг с колбасой да отчего говядина такая резиновая, что зубы её не берут. Расписался в зачётках, оставляя право выбора отметки, и отпустил с миром до осени.

Кусать затем локти от досады – нынче пойдёшь сыщи дурака! Ломясь, аудитория сосредоточилась в предвкушении.

– Поблажек не ждите. Кто не надышался пылью старого учебника и алчет в ночь подышать ещё – неволить тех не стану. Свобода – это не воля, а право выбора, – сказал и, трясая седой головой, первым вышел из зала.

Между тем, едва завидев профессора, что направлялся в курилку, шофёр Вася взвился на ноги и хвостиком поплёлся следом.

– Извините, это вы там читали лекцию?

Профессор, доставая сигарету без фильтра и отрывая половинку, кивнул и в свою очередь переспросил:

– А собственно говоря... э-э... я что, я сказал что-то не так?

– Что не так?! Всё так. Просто... я хотел спросить.

– Ну-ну, любопытно. Я слушаю.

– А остальные, которые не работают, они что делают-то, а?! Ну, старики да дети, кого в армию забрали, а кто срок тянет – это понятно. А остальные – что же?

– Если вас интересует количество заключённых, то их у нас около 4 миллионов...

– Да чёрт с ними, с зеками! – возмутился шофёр столь очевидной непонятливости собеседника. – Остальные, которые не работают, они что делают?

Профессор неторопливо прикурил от спички обрывок сигареты, другую половинку сунул в нагрудный карман пиджака и, выдыхая дым через обе ноздри, сказал, прищулив один глаз:

– Ах, вот вы о чём? Это уже из области арифметики. Всё население составляет около 270 миллионов человек. Почти 130 – трудящиеся слои и классы, то бишь рабочие, крестьяне, интеллигенция и служащие. Остаётся примерно 140 миллионов: 50 – пенсионеры, 40 – школьники, 10 студенты и учащиеся, 3 – домохозяйки. 40 миллионов наших сограждан относятся к несистемным группам: духовенство, крестьяне-единоличники, профессиональные охотники и рыбаки, различные группы чуждых элементов...

– Ну?

– Ну и так далее. Я понятно объяснил?

Привлечённые столь своеобразным сочетанием собеседников, студенты обступили профессора с шофёром и, ухмыляясь, с любопытством прислушивались к разговору.

– Но вот что я хотел спросить. Тяжёлый труд, вы там говорили, уберут...

– Как уберут?! – удивился недогадливый профессор, но тут же смекнул: – Разумеется, тяжёлый физический труд рано или поздно будет устранён из практической деятельности человека. Непременно.

– Нет, вы не подумайте, что я не понимаю. Не дурак. Всякие там роботы и прочее. А кто колёса будет снимать? Кто-нибудь ведь должен!

Профессор в недоумении развёл руками:

– Не знаю, что и ответить вам. Может, колёса не будут ломаться?

– Тоже мне сказанули! Колёса у него не будут ломаться? Они и сейчас не ломаются. А снимать-то их всегда надо будет! Переобувать и всё такое прочее.

– Тогда, значит, не будет колёс.

– Машин, скажите лучше, не будет.

– Не знаю, может – будут, может – нет. Определённо могу ответить лишь одно. Человеческий ум обладает поистине неограниченными возможностями. За последние сто лет произошёл рывок от первых паровозов до первых космических ракет, и мы на пороге поистине грандиозных, революционных...

– Всё это я уже и без вас слышал! И даже про компьютер, на котором пальцем можно писать. Но колеса-то нового пока ещё никто не придумал?! – Шофёр Вася взъерошил волосы грязной рукой и, не дожидаясь возражений, резко развернулся. Он быстрым шагом направил себя собирать разлетевшиеся по сторонам пластины. При этом могло слышаться, как он бормочет себе под нос на ходу: «Сто лет... Надо же только придумать такое: колёса не будут ломаться! Через сто лет-то... Поди проверь!»

Профессор потоптался на месте, покачал в растерянности головой, да и поковылял через дворик мимо грузовика.

Шофёр Вася опять ухватил в руки кувалду и осерчал давай вгонять пластины под обод колеса. Тух! Тух! Бзз...

– Итак, господа, – взговорил профессор от порога, – остались, как я погляжу, только те, кто знает себе цену. Похвально. – Откашлялся и озадачивает: – Видали, как он срезал меня, а?! То-то же! Если б сей весьма смывшлёный шофёр задал бы свои вопросы не мне, а себе, и не давеча, а в оны годы, тогда сегодня, должно быть на этом самом месте, стоял бы уже не я, а он

бы ставил перед вами задачи – колёса же отвинчивал бы кто-нибудь другой. Не ответ, нет, не ответ. Главное в жизни нашей – вопрос. Своевременный и правильно заданный.

Засим профессор нацепил на нос очки и приступил к выставлению отметок – согласно опросу. Суд был короток и жесток. Срезал аудиторию. Завалив всех, в том числе и меня, тем самым умыл самозванцев, что называется – самодур.

Не преминув пожуричь меня за фиаско, после экзамена Борис Петрович предложил по-соседски проводить его до дома. Нумизмат нумизмату не товарищ – нет, и не друг – нет, но душа явно родственная, а потому не избежать искуса – непременно похвалишься монеткой, за которой полжизни охотился и, в конце концов, выменял.

Будучи довольным удавшейся с утра проказой, он был оживлён, шутил, балагурил. Как обычно, праздная беседа соскользнула на больной для обоих конёк – как собираются стоящие коллекции, монетка к монетке и монетка за монеткой. Об этом он мог разглагольствовать часами, не щадя чувств. Главное, мол, не количество, а – идея, сводящая кучу разного достоинства металлических огрызков из ветхого прошлого, как моя к примеру, в настоящую коллекцию. Вот его коллекция – это история, отчеканенная в металле, при, разумеется, ясном понимании, какая монета какой системе налогов и сборов соответствует.

На следующий день, в назначенный час, переэкзаменовке, увы, не суждено было состояться. В то злополучное утро в вестибюле института вывесили портрет профессора в траурной рамке, а внизу – некролог, в пределах которого принято писать только хорошее, с намёком на несправедливость изворотов судьбы.

Весь тот день, как ни в чём не бывало, во двореке маячил шофёр Вася: он возился у своего свежееккрашенного ЗИЛка, с поднятым на этот раз капотом, а в перерывах между лекциями и консультациями рассказывал всем, кто готов был слушать, как приходилось ему спорить с покойным, и при этом сыпал цифрами, прорекал перспективы развития советского общества, поносил коварных америкашек с япошками и прочее, и прочее. Его суждения были довольно-таки резки и глубоки – большая умница и эрудит, можно было подумать, этот шофёр Вася, раз такой видный учёный при жизни не гнушался общества простого человека и, по-видимому, даже набирался у него ума-разума.

Я наблюдал и слушал. Было горько и обидно. Вскоре, подумалось мне, траурную рамку с портретом снимут со стены, и “светлая память” потихоньку-помаленьку начнёт изглаживаться. Шофёр Вася наконец отремонтирует свой старенький ЗИЛок. Завершится экзаменационная сессия, пролетят летние каникулы, и придёт время нового учебного года. В аудиторию войдёт другой профессор. Задуют холодные ветра, и окна лекционного зала заклеят на зиму до следующей весны.

Отчего, думал я в сердцах, обычно умирают люди? Конечно же, от болезней сердца и нехватки нервов. Это негодяев носит земля, пока не одолеет их немощь. Потому как не переживают они ни за что, и сердце у них не болит ни о чём, кроме себя. А за хорошими людьми приходит смерть сама, причём неожиданно, нежданно. Ведь смерть что беда! Две подружки. Если беда в дверь ломится, а ты гонишь её за порог – она уже в окно стучит; закроешь окна – сквозь щели сочится. Выметаешь с сором – тут же пылью оседает. И нет спасенья, нет защиты. Помня о грядущем, надо торопиться жить сейчас. Ведь недопетой песней обрывается жизнь, мыслимая в юности вечной и счастливой. Жизнь для живых, и прожить её надо так, чтобы песней она в хоре людском наполнилась. А к потерям... что ж, рано или поздно человек привыкает ко всяким утратам – и смиряется, коль это не потеря самого себя.

Не стало Бориса Петровича. В тот печальный день солёные ручейки украдкой пролагали себе русло от края глаз до подбородка и ниспадали незамеченными каплями на грудь. Что,

однако ж, запоздалые слёзы?! Так, пустое. Закрыта книга его жизни – перевернута страница в книге моей жизни. Свершилось непоправимое, горькое, но мудрое и великое таинство бытия, и я ощущал, как наступает какое-то необычайное просветление, ибо смерть суть врата в безвременье. Дорога в вечность пролегает через бренность бытия.

Остаток дня бродил по улицам среди отцветающих скверов и бульваров, и если б кто меня спросил, о чём думал-вспоминал, куда шёл, где бывал и что там делал, то вряд ли бы сумел внятно объяснить, почему легко дышал я полной грудью, подставлял ласковому ветру и солнцу лицо, отчего внимал задушевному пению птиц, а когда день сменился ночью, взирал на яркие звёзды в бесконечной вышине и напевал в пол робкого голоса никем не сочинённую мелодию. Симфонией, казалось, жизни – неповторимой и полной надежд – зазвучит та песнь, которую не оборвать на восходящей ноте. Погасли городские фонари. Под покровом ночи, совершенно разбитый, но умиротворённый, я возвращался домой, чтоб забыться крепким сном и во сне, не скупясь, уронить на подушку ещё одну горькую слезу.

Под утро раздались тяжёлые удары в наружную дверь. Бабушка, в ночной рубаше, открыла – меня за ноги выдернули из постели, повалили на пол, втоптали казёнными ботинками в дощатый пол, прямо у неё на глазах заковали в наручники и увели.

Мне следовательно задавал вопросы, когда, где и что я делал – отвечал и подписывал. Всё как было – что мог вспомнить. Следователя сменил другой следователь и стал задавать вопросы про монеты, мои и профессора: что есть что, сколько стоит эта или та, где и на какие деньги... – я отвечал и подписывал. Вернулся первый следователь, и они вдвоём наперебой давай задавать мне всё новые и новые вопросы. Отвечал и подписывал, в раздражении, смешанном с ужасом и нетерпением, не чая конца очевидной нелепице. Меня не отпускали домой, хотя всякий раз, спрашивая, обещали, что этот вопрос будет последним. Наконец предъявили отпечатки пальцев, снятые с предметов в квартире профессора, какие-то люди показали, что видели меня...

Вот и всё, говорят, надо признаваться, и тем самым облегчить свою участь, снять камень с души... В чём признаться?! Да в том, что нелюдь: убил, ограбил и, заматаив следы, чуть было дом не подорвал-подпалил вместе с людьми в нём живущими – и всё из-за какой-то паршивой старинной чеканки.

Когда я не знал, что отвечать, второй подсказывал – я не подписывал, а первый тяжёлым мраморным пресс-папье, обёрнутым в рулон промокашки, учил меня премудростям жизни и, начиная с азов, прямо в лоб вколачивал простейшие аксиомы. Когда же, сам изнемогая от упрямства, я утомил их своей несговорчивостью, меня отвели в красный уголок передохнуть, а заодно набраться ума-разума, и двое детей в спортивных костюмах молча пинали меня, оттачивая рукопашные приёмы, – я отмахивался, как мог. Опять повели на допрос и терзали безответными вопросами.

В голове вертелось лишь одно: прав был покойный Борис Петрович, главное в жизни – верно ставить вопросы, своевременно, и тогда ответы на них покажутся не суть как важны.

Сначала ежедневно, а затем всё реже и реже вызывали к следователю. Вскоре я потерял счёт времени и ощущение реальности.

Адвокат, которого мне назначили, уговаривала покаяться, чистосердечно во всем признаться и при этом ссылаясь на какую-то договорённость с судьёй, а я-де, такой-сякой, глупый несмышлёный мальчишка, не слушаю её, сердобольную, не внимаю премудрым материнским советам и тем самым обрекаю себя. Ну, набедокурил, так имей смелость покаяться, не упрямься, так лучше будет: все всё поймут. У неё были полупрозрачные, крючковатые, дрожащие пальцы, которые ногтями вонзались в карандаш и норовили его сломать.

Я замкнулся в себе.

Адвокат, которого наняли мне папа с мамой, тоже был бессилен сладить со мной. При разговоре он своими короткими руками, с толстыми пальцами, поросшими редкой чёрной

шерстью, забавно тыкал в разные стороны, и куда бы ни метил – попадал в точку по наиболее короткой, прямой линии. Моя личность, с его слов, представляла собой сгусток комплексов, в самой чаще которых скукожилось и трепыхалось насмерть перепуганное «я», к тому же терзаемое изнутри непроявленными половыми инстинктами, а потому любой укол гордости, нечаянный намёк на сокровенное или зависть вполне могли привести к маниакальному помутнению рассудка. Это «я» могло не помнить или не осознавать содеянного мною, а потому нет вины на виноватом.

И ведь ему удавалось внушать весь этот бред, его слушали, ему верили и даже в чём-то соглашались с ним. Как говорится, полная абулия.

Судили судом недолго и признали виновным – в преднамеренном убийстве и краже.

Меня видели у подъезда профессора, и мы долго и горячо спорили – сначала об экзамене, потом о монетах. Мои отпечатки пальцев найдены в его квартире. При обыске у меня в доме обнаружены монеты, и никто с достоверностью не может утверждать, что это за монеты. Нет описи, нет реестра, нет истории. По сути – бесхоз. Нельзя точно выяснить, что именно украдено и где спрятано. Моё странное поведение в целом и бегство от людей в частности – всё это красноречиво свидетельствует в пользу обвинения.

Невыносимо было глядеть в глаза людям – я смел глядеть лишь на их руки. С тех пор я ненавижу человеческие руки. По ним, по пальцам и ногтям, по косточкам и линиям на ладони, по сжатому кулаку и растопыренной кисти, я читаю точно в книге человеческих судеб. Глаза невинны, губы в улыбке растягиваются вширь, язык что помело, а руки при этом бездушно делают своё дело. Как при последней встрече сказал прокурор, каждый человек должен хорошо делать свою работу, без зазрения совести и чистыми руками. У него, действительно, руки всегда были вымыты с мылом и наготове был надушенный одеколоном носовой платок, которым, прежде чем коснуться, он имел привычку протирать предметы, затем свои руки.

Сначала я ощущал себя подавленным, потом готов был рвать и метать, затем пришло отчаяние, которое вскоре опять сменилось яростью, а перебушевав, я ощутил растерянность и бессилие. Всякий штиль рано или поздно сменяется бурей, а за бурей следует покой.

Я не мог ни спать, ни есть, задыхался, и как будто время остановилось в своём течении. Тошно. Страшно. Волком выть хочется. И жить я не хотел, и умереть не мог. Я мечтал заснуть и не проснуться. Тоска – это единственное человеческое чувство, которое от безысходности надолго поселилось у меня в груди. Я оглох, я ослеп – я прислушивался только лишь к себе, я глядел внутрь себя. И при этом я терпел.

О-о, как я терпел! И презирал...

Камера была тесная, тёмная, мрачная, с маленьким решётчатым окошечком под сводчатым потолком. Сине-серые стены с каждым днём сжимались, нависал и давил белёсый потолок. Днём с улицы едва доносились глухие отзвуки потусторонней жизни, а вечерами дважды в неделю, по вторникам и четвергам, – музыка. Напротив, за тюремными сооружениями, через дорогу парк – в парке танцевальная площадка. Теперь казалось, кто-то разместил её там словно в насмешку мне.

Я помню едва ли не каждую ноту, едва ли не каждую интонацию. Прежде, глядя оттуда на решётчатые окна тюрьмы, притаившейся за высокой кирпичной оградой с колючей проволокой кольцами поверх, думалось и говорилось всё, что угодно, но только не о том, что стены имеют свойство сходиться, а потолок ниспускаться.

Всякий раз поутру я пядями мерил ширину, затем длину и убеждался в том, что за ночь стены сошлись на вершок-другой. Я подсчитал, что если в сутки хотя бы на ноготок сокращается пространство, то за полгода его не останется вовсе, и стены раздавят меня. Я мечтал о том времени, когда стены сойдутся, чтобы, упёршись спиной и затылком в одну стену, а ногами и руками в другую, вскарабкаться вверх по отвесам и напоследок, таким образом дотянувшись

до окошка, забранного решёткой, взглянуть на белый свет, где блещут краски и звуками пустой суеты полнятся меха жизни.

Я с беспокойством поглядывал на зазор между окном и сводом потолка. Почему-то мне было менее ужасно представить себя раздавленным, как таракан, нежели задохнувшимся, как рыба на берегу. Уходил воздух. Было холодно и душно. Высыпал бисером пот по телу и, сдавалось, замерзал на коже под утро... льдинки откалывались и вместе с крошками шкуры падали прямо на бетонный пол, который покрывался солёным инеем...

IV. Серый кролик

Нашего брата, зайца, например, все едят.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Здравомысленный заяц

Закатилось за горизонт солнце. В кровавое зарево, умывшись росой, окунулась полная луна, и сверкающей царицей взошла на небосклоне вечерняя зоренька. По-над сумрачными кварталами, тускло освещёнными уличными жёлтыми фонарями, густым туманом стелется музыка и отдаётся грустным эхом в густых зарослях конопли, что колосится на ветру поверх наших голов. Кажется, совсем смерклось, и уже не столь ярко мерцает Венера в окружении россыпью высыпавших на небо звёзд.

Как стемнеет, пацанва собирается во дворе за сараями на вытоптанной полянке в зарослях конопли и, рассевшись полукругом на деревянных ящиках вокруг костра, где в золе печётся картошка, рассказывает страшные истории: про чёрный-чёрный автобус, про чёрную шляпу и чёрный плащ, в который был обернут чёрный человек в чёрных сапогах, и про чёрную-пречёрную дыру во сырой земле.

Ещё было не совсем поздно: при нас малыши – и я завёл рассказ нестрашный, но так, видать, вдохновенно сказывал, будто правду говорил, и был столь непритворен, что все слушали и едва ли не до слёз верили услышанному.

– Никогда, детки мои, не ходите в лес, – наставляла малышей крольчиха-мать, – там живут лютые звери, и за каждым кустом вас поджидает смерть.

Крольчата, внимая с трепетом зловещим словам, дрожали от страха, и прутики их клетки постукивали один о другой.

– Пока вы здесь, вам ничто не грозит: ни голод, ни холод, ни хищный зверь.

Не успела крольчиха закончить свой урок, как пришёл человек. Его приходу все очень рады, потому что он вкусно и обильно кормит, чистит клетки, при этом ведёт душевную беседу и всякий раз пестует, с нежностью поглаживая по шёрстке, а иногда, говорят, к себе в большую человеческую клетку забирает какую-нибудь престарелую крольчиху. И каждая крольчиха мечтает о том дне, когда и до неё, старой и преданной, дойдёт очередь переселиться к человеку в дом. Такой уж, выходит, добрый человек.

Человек открыл клетку, ласково потрепал за ушки крольчат, подбросил им пучок свежего клевера, а затем вдруг схватил огромной рукой за уши их крольчиху-мать да и унёс с собой. Крольчата были уже почти взрослые, но разлучаться с мамашей всё же жаль, хотя и испытывали гордость за неё, даже чуть завидовали.

А вскоре из дома стали доноситься запахи тушённого в сметане мяса, в сарае же на гвоздике появилась распятая на прутьях шкурка, что пахивала чем-то родным и очень близким.

В течение нескольких дней вирус дотоле неизвестной болезни, принявшей характер эпидемии, поразил детвору: все дружно отказались от крольчатины, причём в любом виде – жареном или тушёном, со сметаной или без. Когда же признаки поветрия стали очевидными, взрослые приступили к поискам возбудителя или, на худой конец, разносчика заразы – всё тщетно.

Я, однако же, сделал выводы, свои разумеется: в сумерках за сараями в зарослях конопли я увенчал свою страшную историю счастливым концом:

– О-о! Да это же наша мама!!! Только шиворот-навыворот! – в один голос вскричали крольчата, увидев на растяжке ещё сырую шкурку.

– Да, это ваша мать, – пояснила старая чёрная крольчиха. – Вы ещё мало пожили и, наверное, не знаете, что когда умирает кроль, то человек снимает с него мех и одевает на себя, то есть принимает облик кроля. Когда же он съедает мясо, то дух умершего вселяется в человека и живёт в новом теле. Так наступает бессмертие. Со смертью вашей мамыши пришёл, наверное, и мой черёд. Эх, скорее бы! Говорят, это такое счастье!

Все с благоговением внимали речи старой чёрной крольчихи, и только лишь серенький, самый длинноухий крольчонок сомневался:

– А может, всё-таки человек убил нашу крольчиху-мать, выпотрошил и вывернул наизнанку?!

– Фу, какой неблагодарный и невоспитанный дурачок! – пожурела его умудрённая жизнью чёрная крольчиха и пояснила: – Ну, сам подумай, зачем же человеку в таком случае кормить нас, чистить клетки, ласкать, а? Нет, человек не умеет убивать – он умеет любить, потому что он очень добрый.

– Но мамы-то больше нет! И кто говорит-то про это счастье?

– Замолчи, глупец!!! Поживёшь с моё – узнаешь.

Но с тех пор всякий раз, когда человек открывал клетку, подкладывал кролям свежескошенной травки, ласкал их, длинноухий серый крольчонок забивался в дальний угол и дрожал мелкой-мелкой дрожью под мозолистой ладонью.

Вот однажды, когда уже не было старой чёрной крольчихи, человек пришёл снова, открыл клетку, подбросил пучок свежего клевера и протянул руку – крольчонок испугался, порешив, должно быть, что на сей раз человек явился по его душу, и, под рукой выскользнув из клетки, бросился скакать вон из сарая (человек даже охнуть не успел) и до темноты просидел в зарослях бурьяна под огромным лопухом.

С сумерками серый длинноухий крольчонок что духу припустил в лес: благо, человек жил на самой окраине, у опушки.

Там же, за сараями, в зарослях конопли, и присудили немедленно даровать свободу всем кроликам нашего двора. Завтра-де может быть поздно.

К счастью, скрутили замок на двери только лишь одного из сараев – дяди Миши, которого, к слову, вся детвора и не любила, и побаивалась. Звали его Полицаем. За нрав суровый и молчаливый, за то, что чужой: недавно сосед вернулся из лагерей, отсидев своё. Кое-кто, помнится, говорил: жаль, что к стенке не поставили прихвостня.

Все мы гурьбой – кто из жалости, а кто из одного только озорства – ворвались внутрь вскрытого сарая и в крошечной тьме, хихикая и млея, извлекали несчастных кроликов из клеток и выпускали на волю в заросли конопли и лопухов. Заодно разбрелись по двору и куры с утками. Отваги продолжить начинание не хватило, и мы, уже осознавая содеянное, разбежались по домам.

Раным-рано поутру дядя Миша вышел с косой во двор и на поляне между рядов сараев обнаружил свою живность, а затем уж – скрученный замок и пустые клетки. Первым почему-то он пришёл ко мне домой. Впрочем, ясно почему: донёс внучок, спасая свою задницу от ремня.

Мать была бледная от ярости и едва сдерживалась, папа суров и тоже на грани срыва, а бабушка сказала:

– Давайте поговорим.

Дядя Миша ответил:

– Давайте.

Я упрямо опустил голову и спросил у соседа:

– А вы знаете, почему удавы не кушают кроликов?

– Не дерзи! – прошипела мать белыми губами, а папа взялся за пряжку ремня, медленно начиная расстёгивать.

Дядя Миша примирительно поднял руку, и я впервые в жизни увидел на его лице улыбку.

– Так почему же? – спросил он.

– У них от кроликов изжога. Им претит жирная крольчатина, – так и сказал: «претит», и набычился, готовясь к самому худшему.

Дядя Миша рассмеялся, причём весело, звонко и беззлобно.

– Ты мне лучше расскажи, что случилось с тем серым длинноухим крольчонком, который сбежал в лес?

У папы поползли вверх брови.

– Его, – ответил с ноткой озлобленности в голосе, – разорвали голодные бродячие собаки.

– Мы компенсируем, – начал было папа.

Но сосед, не в силах вымолвить ни слова сквозь смех, душивший его, только замахал обеими руками, а потом таки выговорил:

– Это не мой... Это его крольчонок... Это из области фантазии... – Наконец отсмеявшись, он опять пристал ко мне со своими дурацкими расспросами: – А суть-то в чём? Какой, скажи мне, смысл был сбегать, чтобы тут же быть растерзанным?! Я что-то никак не могу взять в толк.

– Он был свободным, когда его съели собаки.

Дядя Миша перестал смеяться. Он подошёл ко мне, обхватил мою голову своей большой мозолистой рукой и прижал к груди.

– Хороший у вас мальчишка. Добрый.

Почему-то я не сопротивлялся, хотя остатки ершистости ещё броили в груди.

– Вы его не ругайте. Вырастет – поймёт. – И обратился ко мне: – Ну, брат, наделал ты делов, так что пошли-ка исправлять.

И вопросительно взглянул на бабушку: ничего, дескать, что одолжу внука на часок?

Вернувшись из сарая от дяди Миши, я застал бабушку с мамой на кухне за спором. Дверь в квартире была открыта: выветривался угар от сгоревшей в духовке яблочной шарлотки. Никто не заметил моего неожиданного появления.

– Я, конечно, не родная, – вразумляла бабушку мать с досадой, – но я возложила на себя большую ответственность за этого ребёнка. И люблю его как своего. Ему уже почти двенадцать лет. Пора бы повзрослеть. А вы, Катерина Алексеевна, потакаете ему буквально во всём. Он просто избалован! А я не могу проявить к нему настоящей строгости. Пора отдавать себе отчёт в том, что говоришь, что делаешь, к чему стремишься...

– Да, согласна с тобой, моя дорогая невестушка. За словами часто следуют дела, а за дела приходится отвечать... – И вдруг сплеснула руками: – Ой, не могу! Сейчас помру со смеху. Как он ответил соседу?! Крокодилы не кушают кроликов, потому что им претит жирная крольчатина, да? Так ведь и сказал, сорванец: претит! Где слову-то такому научился?!

– Не крокодилы, а удавы! – сказал я, входя на кухню.

Мир и спокойствие в нашем дворе были восстановлены. С тех пор дядя Миша уже не был чужим, он был просто соседом, причём время от времени стал захаживать к нам на кухню – к бабушке на чашку чая и ватрушки, но сама мысль предложить нам по-свойски свежей крольчатинки претила ему.

V. Блещающий мир (По – Грину)

Вы, читающие, находитесь ещё в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней.

Эдгар По. Тень

Развалить бы бетонные своды, разрушить бы каменные стены – да так, чтобы никто и никогда не сложил бы камня заново! Я упрюсь и, как из чрева матери, вырвусь на волюшку вольную – горе будет тем, кто, не родив, затолкал меня обратно, с белого света да назад в темницу.

И чувства, и мысли, и полёт воображения – я помню всё, что было давно и недавно, но, кажется, уже не со мной, а если и со мной, то совершенно в иной юдоли.

Человек сходит с ума от запертых в голове мыслей. Протухают, загнивают в спёртом пространстве думы и, не находя выхода, путами обвивают и душат – разум. Удерживает от полного помешательства бездушный надзиратель всего лишь куцым словом да взглядом угрюмым. Если вцепиться ему зубами в глотку так, чтобы живьём не оторвали, то пришёл бы долгожданный миг свободы, когда померкнет свет в голове, и ты станешь вольным от неволи. Тебе разmozжат черепушку, и не будешь ты мучительно гадать: сгниёшь ли, сгоришь или замёрзнёшь, задохнёшься ли, раздавят сошедшие стены или расплющит потолок, упавший долу? Содеется днём или ночью?! Но тюремщик на то и тюремщик, что ему ведома вся безжалостная правда о жалком бытии, называемом здесь жизнью. Он дорожит тем, что отпущено ему, – своим существованием, суть которого в безраздельной власти над смертными. Он сторонится.

Безумен он – не я... я пядями меряю стены и складываю воедино воспоминания. Помнив кряду несколько страниц из иной книги жизни, той ещё, так и недочитанной, я ловлю себя на мысли, что ничего не понимаю из того, что писано между строк. Абрисы призраками брезжат вдали, за окоёмом, и взгляд близоруко плывёт по страницам, из видений складываются пустотелые образы, смысл и значение которых мреют за гранью сознания. Откуда-то вырастают тени и рождаются звуки, которых нет и быть не может. Камера полнится голосами. То чужие злые мысли слышатся – вслух.

Мысль о блистающем мире по ту сторону решётки как запретный плод манит, и жулит лукавым искусом воображение. Хоть на одну ночь, хоть на час отрешиться – и забыться бы глубоким беспробудным сном, чтобы проснуться уже в ином мире! Мешают, однако, навязчивые мысли. Мысли ни о чём! Даже не мысли, а так, нелепицы заумь. Может статься, виной тому всё тот же струящийся лунный свет.

Смерклось, и, взойдя на небосклона эшафот, зардел стыдливо месяц, простирая сквозь решётку бледную дрожащую длань. Сумрак ожил тенями, мнятся средь мрачной камеры хмурые безликие тени за спиной. В кругу подлунного света расширяется эфир.

Лунная дорожка из неволи на волю проложила путь к свободе чувств. Блещающий мир манил и притягивал.

«Вор должен сидеть в тюрьме, и тогда никто не посмеет спросить, кто своровал, ибо узника бессмысленно пытаться, а что украл и где зарыл. Разве что безумец сам заговорит, но только безумец и поверит безумным словам. Сумасшедшие не говорят с разумными, как мёртвые не каются перед живыми. А посему туда ему и дорога! В тюрьму. Лучше – в сумасшедший дом. Ещё лучше – во сыру землю. Мёртвый вор – истый вор», – так думал он, глядя на загадочный профиль прекрасного лица незнакомки, вошедшей в его кабинет.

Она, верно, смущена. Вся в сомнениях, робостью томима. Тонкие умеренные черты выразительны. Очаровательная голубая жилка нервно пульсирует у виска. В осанке, в жестах, во взгляде ощущается, однако ж, нор и сила. Неспроста...

Да какая там загадка! Известно наперёд – одно и то же, до оскомины однообразное. Мандель!

Уже предательски вздымается грудь, выдавая едва скрываемую страсть. Поведёт бровью, чуть округлив глаза, взмахнёт крылами ресниц – и умолит доступностью своей неприступной вершины?

Не на того напала, прошмандовка!!!

Довлеет ему обхватить её, встряхнуть так, чтоб дух гордыни выметнулся из корсажа, да швырнуть на диван и, задрав пышную юбку, взять силой то, ради чего, сама не чая, заявила сюда. Михирь вмиг собьёт с неё всю спесь, и повадна будет: униженная и оскорблённая, уйдёт она с мучительным чувством брезгливости к своему поруганному телу... но уже на следующий день, воздев гордо кверху свой припудренный носик, она вернётся с тлеющим огоньком в томном взгляде, чтобы снова невольно покориться.

Ему не этого хотелось, ему не это было нужно. Ему недоставало страсти, его возбуждающей страсти. В соблазнительной тиши кабинета обворожительные черты лица и угадывающиеся под покровом нарядов формы обещали восхитительные прелести молодого тела, которое способно изнурять – пока страсть не угаснет. А иссякнут позывы скоро. Если не через пять минут, так через час; если не сейчас, так через день или два. Как только глаз привыкнет, а воображение не возбудится вновь – ослепительная красота поблекнет, и проступят родовые изъяны. Всё как обычно. Едва воспалит – и уже наскучит. Вот только в зелени глаз чудится одержимость, мнится негасимый огонь. Зелень глаз манит, завлекая глубиной да сочностью необычных красок. Обещает взгляд нечто смутное, таинственное... В изломе норовисто приподнята бровь. Голубая жилка, завораживая, бьётся у виска; завиток за ушком, подрагивая, отвлекает.

Он изучающе разглядывал незнакомку и, наконец, после долгого раздумчивого молчания, встал из-за стола навстречу ей и, оправляя на ходу мундир на брюшке, сухо выдавил из себя:

– Я вас совершенно не знаю. – А сказав слово, вдруг ощутил ту безотчётную лёгкость, с которой нечаянные словеса полились из него; он говорил и не понимал, зачем он тратит на неё потоки пустых слов, выплёскивает все эти праздные чувства, эту откровенную досаду: – Ваш взгляд обещает мне всё, но предлагаете вы тело. Кто вам сказал, будто мне нужно ваше тело? Оно что, из золота отлито? В ваши соски рубины вделаны? Глаза – два изумруда? А слёзы – чистой воды алмазы? Зубы, верно, слоновой кости, а ногти – жемчуга? Верю, что вы прекрасны не только в искусных шелках, но и без всякой мишуры. Мне-то зачем?! Вы не драгоценная, а из обычной плоти, как и любая подзаборная девка. Если хотите знать, то я, например, сейчас же могу содрать с вашей задницы трусы и выдрать как сидорову козу – ремнём по ягодицам. И буду прав, потому что так хочу. А вы и пикнуть не посмеете: вот вы где у меня!

Распалаясь от собственных же слов, он сжал кулак и подступил к незнакомке настолько близко, что едва не опьянел, вдохнув аромат её духов, да и потряс кулаком перед её прелестным, чуть вздёрнутым кверху от гордыни носиком.

– Вы зазнайка! Пустышка! – восклицал, пятясь вглубь своего кабинета, будто беря разгон для прыжка. – Вы предлагаете мне то, что я и так, без спроса, могу взять. Вопрос только в том, захочу я соблазниться или не захочу. Ну, что же вы молчите?!

Отступив, замер в трёх шагах, расставил ноги шире плеч, замком сцепил руки за спиной, набычился. Хищно раздулись ноздри, и крылья его носа трепетали. Казалось бы, ещё мгновение – и он накинется на неё... Внезапно точно свет померк в глазах, и его пошатнуло в крошечной тьме чувства, увлекающего безотчётным желанием впиться губами ей в губы. Однако ж ноги словно в пол вросли.

Незнакомка повела бровью, чуть отвела в сторону взгляд и приоткрыла уста в усмешке – оскалилась, обнажая из-под алых губ белые маленькие острые зубки.

– А кто вам сказал, будто я пришла сюда, чтобы что-то отдать? – Её голос прозвучал невинно, высокой музыкальной нотой устремляясь в небеса. И вдруг упал, едва не через две октавы вниз: – Да не отдавать! Нет!!! Я пришла – взять!

– Хм... Интересно! – опешил было, но мгновенно совладал с чувствами, подобрался, втянув в себя живот, и, скрестив на груди руки, придал важности своему предательски дрогнувшему голосу: – Ну что ж, беседа становится многообещающей. Так что же вы, любезная, намерены здесь брать?

– Вас! – как эхо откликнулась.

Осклабился в ответ. Жалко, однако ж, прозвучал тот смех. Так тоскливо заржал бы на кобылку жеребец, которого ведут под уздцы на живодёрню, и он сорвался на отчаянный храп:

– Дура! – Отвернулся, чтобы только не видеть зелёных глаз её да пульсирующей жилки у виска, попятился к окну и распахнул створки. Живительным эликсиром было дуновение свежего воздуха. Смахнул ладонью испарину со лба, потёр левую грудь, где защемило, и уже держал в уме спасительную мысль – выставить бы её, от греха подальше, из кабинета, а затем, приняв на грудь коньяку стакан, завалиться бы на диван да вздремнуть часок перед обедом. Устало, точно измождённый былыми страстями старик, проворчал, ленно оборачиваясь к ней: – Это я беру!!! Я беру, кого хочу и когда хочу!

Не успел шугануть: пошла, мол, вон! – как послышался едва уловимый на слух шепоток, подобный шипению змеи в палой листве осеннего леса:

– Ежели можете ещё хотеть.

– Что?! – встрепенулся. – Я не ослышался? Неужели я нынче туг на ухо...

– На голову, боюсь, а не на ухо. Я пришла, чтобы взять. Вы же мне сдались на... Вы чуть было не заставили меня выругаться крепко, по-мужски, помянув неприличную букву, выпавшую из старинной азбуки. Догадались, какую?! А я – женщина, но не мужик. У нас разные с вами достоинства. И мне от вас лишь власть ваша нужна – безраздельная и беспрекословная. Вот что я пришла взять! А вы что вообразили было?

«Нарыхтается!» – подумал и представил, вяло воображая: вот сдирает он с неё одежды, наваливается и берёт силой быстро и грубо... Маской скуки не успело подёрнуться его лицо, как вдруг он с удивлением ощутил сладостный прилив крови в чреслах. В нём шевельнулось чувство. Как силы давеча внезапно покинули его, точно так же, неожиданно, мужицкая силушка возвращалась к нему, воодушевляя на дерзость. Она будет извиваться, орать, ещё пуще распаляя его желания. В предвкушении забавы он закатил глаза, прикрыв их тяжёлыми веками: «Ежели не раззадорит, не наполнит страстью, не возбудит, то брошу эту полоумную суку в камеру – на потеху».

Загадал про себя, а сам, вкрадчиво подступая со скабрёзной ухмылкой, вслух уже подначивал:

– Ну-ну, любезная, коль завела шарманку, коль запела, так смей же довести свою трель до финального аккорда. Чур, не сорвись со взятой ноты. А то смотри! Играешь с огнём.

То ли за давностью лет позабыл, то ли обуяло не испытанное прежде чувство. Ещё шаг, и от нетерпения его сотрясало уже; он едва справлялся со своими неуклюжими движениями. Он шёл к ней, но сдавалось – удаляется. Он тянул руки к ней, хватал пустоту, а она, недоступная, говорила язвительно, словно насмехалась, и при этом её уста слегка искажала кривизна безгласности:

– Одного безобидного, но весьма болтливого старикашку кто-то тюкнул для остротки по умной седой головушке, чтоб не совал свой длинный нос не в свои дела, а головушка возьми да тресни некстати. Испустил дедушка дух. Тебе бы душегубца ловить. Впрочем, далеко искать не надо. Ведь ты, верно, догадываешься, в чьи дела сунул нос старик, не так ли?

Из жара да в озноб вдруг бросило его, и он покрылся липким потом.

– Да ты и впрямь сумасшедшая! – вскричал, сжимая кулаки, и совсем охладел, как мертвец перед кончиной.

– Ай-яй-яй! – Незнакомка погрозила пальчиком и покачала головой, словно речь шла всего-то о невинной шалости. – Схватил первого попавшегося мальчишку, бросил за решётку, дело закрыл. За что невинную душу губишь? Да не за что, а потому как глаза у тебя завидующие! Подменил одни монетки другими монетками, и думаешь, дурья ты башка, будто все концы в воду?! Над золотом чахнешь? Втайне, по ночам, любишься холодным блеском презренного металла в надежде душу грешную согреть? А кто платить будет?!

Захлебнулся он от ярости, вызывавшей в нём. Глаза налились кровью, побагровела шея. Он рванул воротничок мундира, точно освобождаясь от удавки. В зобу перехватило, и на издыхании он прохрипел:

– Убью...

В глазах незнакомки вспыхнуло студеное зелёное пламя:

– Скажу фас – перегрызёшь глотку любому! Прикажу умереть – сам сдохнешь! Прикажу молчать – откусишь себе язык!

Он ощутил страшный толчок, точно бы его ударили кулаком в грудь, и беспомощно хватал ртом воздух, как человек на самом краю кручи: внизу тёмной воды круговерть, а к ногам привязан неподъёмный камень. Ни жив ни мёртв, выпучил глаза: «Сердце?!» – молнией промелькнула убийственная догадка в голове, и он, леденея от ужаса, явственно увидел ванную, до краёв наполненную алой водой, где плавает его обескровленный труп с перерезанными венами на обеих руках... и россыпь монет драгоценных на полу дополняет сию ужасную картину. Шепчут сведущие: Хромой Ванька Каин сошёл с ума – и молва, эхом разносясь окрест, подтверждает правоту сего печального вывода.

– Имя тебе будет – Раб! – ужалила, указуя перстом точнёхонько под самое сердце, и навывлет прожгла взглядом изумрудных глаз.

Остолбенел.

Уже на грани помешательства, едва-едва не теряя рассудок, он точно бредит наяву, и сквозь марево перед глазами осколками разбитой мозаики мельтешат смутные видения – одно отвратнее другого. Должно было стошнить – не тошнило, однако ж. Наоборот, он предвкушает, жадно глотая слюни, и в раж ревностной горячки впадает. Вот суженый на час исходит соком страсти в объятиях вожделенной плоти, а желанная, подобно паучихе, истощает младую особь. Высосет и выбросит, прочь отшвырнув обескровленную шкурку самца. Он уж тут как тут, блюдет черёд и меру. Ждёт-пождёт стоически у ложа, шкурки собирает, счёт им ведёт. Наконец воздастся и ему! Млея от счастья, залижет раны от беспутной любви на её истерзанной удовлетворённой плоти, трепетно губами очистит её истомлённое тело от похоти нечистот...

Едва очнулся от видений – утонул в разливе: о берега окосиц плещутся незамутнённые сомнением воды изумрудов. Как зачарованный, не смеет оторвать он немигающий взгляд своих застывших глаз. И скукоживается его «я» до двух простых страстей – страха потерять госпожу и желания отдаться госпоже своей. А там будь что будет! Наконец-то нашёл он ту несокрушимую волю, которой можно беззаветно покориться и служить верой и правдой до самой гробовой доски. В благоговении он упал перед ней на колени, вытянул руки, норовя обнять за ноги, да не смея прикоснуться, – и по-собачьи заглядывал ей в лицо.

– Жертва избрана, – читал он по её губам, – так пускай же будет не напрасна! Все: от судьи до тюремщика, от градоначальника до гробовщика – каждый положит на жертвенный алтарь невинную душу. Шабаш кровавый – оргия затем!!!

Высловилась – и вышла, будто сквозь стену прошла.

Полная луна, стянув солнца луч, льёт мертвенно-бледный, остывший поток светила сквозь решётчатое окно. Стены камеры расступились вширь, тенью окружив холодной плазмы блямбу в самой середине.

Из темноты на свет выступил юноша. Лицо его было бескровное, покойное. Русые волосы волнистой непослушной чёлкой ниспадали на лоб.

Раздался голос в тишине, и эхо гулко, гуляя под сводами темницы, преумножило слова приговора:

– Тебя принесут в жертву, и ты смиренно примешь то, на что тебя заклали. Кто не рожал, кто не дал тебе жизни, тот алчет отнять её у тебя. И на крови безвинной да принесёт он клятву рабства векового!

Вышел палач, прихрамывая. В руках топор.

Юноша упал на колени, уронил покорную голову на плаху – волосы рассыпались, обнажая тонкую белую шею.

Под нарастающий гул возбуждённых страстью и ревностью стонов вознёс топор палач... вырвался из темноты ликующий крик десятка алчущих тёмных душ.

Голова со стуком упала на пол...

Юноша встал с колен, поднял с пола свою отрубленную голову, потёр рукой ушибленную при падении головы на каменный пол камеры окосицу и, бережно неся голову в раскрытых чашей ладонях, побежал по кругу с прижатыми к бокам локтями. Волосы лучами развевались словно на ветру, и лунный свет расширял свой круг по мере бега обезглавленного тела.

Чувства тех, кто прятался в темноте, были потеряны. Все онемели и, выпучив глаза, безмолвно следили за бегущей по кругу жертвой с собственной головой в руках.

– Так с петухами случается, – прошептал палач, мучительно сглотнув, и в его пересохшем горле что-то закрипело. – Ему отрубят голову, а он бежит кругами, обезглавленный. – Палач уронил окровавленный топор и, в смятении, отступил в тень.

Юноша бежал всё быстрее и быстрее, и ноги его уже не касались пола. Он витал в кругу, вздымаясь всё выше и выше, пока не вознёсся под самый взмывший куполом в небо тюремный свод. Каменья темницы плавилась в струях ослепительно яркого, жгучего света, и в вышине, в бесконечности вселенной, мерцали звёзды, сияла полная луна. На столбе лунной дорожки, точно бы сын божий на кресте, висел обезглавленный юноша.

– Меня осудили как злодея, теперь я имею право злодеем стать, – сказала голова в его руках.

Юноша надел голову на шею и крыльями расправил руки. Он был страшен в праведном гневе своём. Тень его легла на землю. А он, развернувшись к палачу спиной, уплыл по лунной дорожке ввысь и прочь. Невидимый глазу хор выл в вышине многоголосьем на полную луну.

В диком смятении, превратившись в мятущуюся в панике толпу, люди металась по камере в поисках выхода, и не находили. И только одно хрупкое создание в прекрасном женском облике застыло посреди камеры, упав на колени и воздев ладонями к небу согнутые в локтях руки. Она обратила вверх, к луне, как разверзшейся бездне, бледное лицо, и побелевшие губы шептали неслышно:

– О, я теперь знаю! Прости меня, я добровольная невольница твоя – навсегда, до гроба, на веки вечные.

Просветлевшие изумруды глаз безумно блистали в лунном сиянье, и по щекам бежали хрустальных слёз ручейки. Это было лицо ангела, во взгляде лучилась благоговейная чистота и невинность, а весь её облик – сама кротость и смиренность пред судьбой. Она не шептала – она исступлённо молилась. Но никто не слышал молитвы той.

Утром на месте тюрьмы горожане с удивлением увидели безобразную грудку камней. На развалинах восседали не люди, а их унылые тени, в полосатых робах. Жалостливые, кто чем

богат, подносили им еду-питьё, тёплые вещи и слушали удивительные рассказы, в которые хочешь – верь, не хочешь – не верь. А как не доверять собственным глазам, собственным ушам?! Говаривали, будто вскоре за полночь крыша тюрьмы изошла туманом в лунном сиянии, и стены, лишившись гнёта, рассыпались сами по себе. И вот заключённые – без крова, и они не знают, что им делать. Прилетал, говорят, какой-то полоумный и объявил всем, что вольны идти на все четыре стороны. Свобода!!! Легко сказать – свобода. Им ведь, кому за что, положено сидеть здесь, не разбредаясь. Вот и сидят, бесприютные, сидят и ждут – ждут прораба, чтобы начать складывать из камней новые стены.

Мятежный призрак витал в воздухе – призрак мести и свободы, а посему от высшей власти прислали птицу высочайшего полёта, едва ли не в сане министра. Едванеминистр посетил забытый уголок своих безраздельных владений, чтобы взбодрить верноподданных и восстановить в их умах добропорядочный уклад. Призрак же велено было изловить в самые наикратчайшие сроки, дабы не смущал своевольными речами доверчивых и наивных людей.

По всему городу, на столбах и стенах, расклеили объявления: «Разыскивается привидение. Того, кто поможет изловить это зловерное явление, ждёт награда». Вечером расклеили – к утру все объявления посрывал вольный ветер. Опять расклеили, дописав в скобках: «За самовольную порчу или срыв сего указа – штраф 50 рублей на счёт устроителей городской тюрьмы или арест на 15 суток с отбыванием трудовой повинности». И едва ли не к каждому столбу приставили по добровольному дружиннику из числа добропорядочных горожан. В кустах, в засаде, круглосуточно дежурил наряд тайных агентов, готовых в любой момент поймать в расставленные сети вольного ветра призрак. Однако ж, поговаривали злые языки, поскольку призрак – существо бестелесное, то в расставленные сети не угодит. Тем не менее, уже к утру, таким именно образом, были изысканы денежные средства и рабочие руки на возведение тюрьмы, без ущерба для казны.

В городе воцарился порядок, ударными темпами возводилась новая тюрьма, лучше и надёжнее прежней, но призрак не был изобличён, а значит, едванеминистр по-прежнему не мог спокойно спать: кто убережёт город и его население в случае второго пришествия зловерного самозванца?! Явится призрак, разрушит стены казённого дома, выпустит на волю одного опасного обитателей. Мозги у многих съедут набекрень, и беды тогда точно не миновать.

Едванеминистр проводил совещания с раннего утра до позднего вечера, но толку было чуть: ему лишь доносили, что призрак видели там, объявлялся он сям. Успокаивало едванеминистра одно: обыватель был ленив, полон мелких забот и вообще мало верил в чудеса.

В одну из таких бессонных ночей, полных дум и тревог, дверь гостиничного номера, где разместился едванеминистр, внезапно распахнулась без стука, и в номер вошла дама. Образа ангельского, красоты неземной, она вошла и молвила от порога:

– Вы, верно, догадались, кто перед вами?

– Допустим, догадался, – ответил едванеминистр, поднимаясь с дивана, где предавался размышлениям.

Он сделал шаг навстречу незваной гостье и, пряча свою растерянность за радушной улыбкой, сам, верно, подумал с досадой: «Что за оказия?!». По-хозяйски гостеприимным жестом руки он предложил ей занять кресло. Сам пересел в свободное кресло напротив. Тем самым, можно было подумать, он выгадывал себе несколько мгновений, чтобы подстроить свои мысли – и слова, сообразно возникшим обстоятельствам, непредвиденным, непредсказуемым. И только затем, когда расселись друг напротив друга, как прекраснотушные собеседники, он продолжил начатую мысль ничего не значащим комплиментом:

– Я наслышан о вас, но вижу впервые. Если б я только мог представить, насколько вы обаятельны (надеюсь, настолько же и разумны), то сам, поверьте мне, давно бы выкроил минутку-другую для личной встречи.

– Вы отказывались отвечать на телефонные звонки, – упрекнула она, казалось бы, с лёгкой обидцей в голосе. – Пришлось вот самой, без приглашения, явиться в ваш номер.

– В столь поздний час, замечу, одна и в апартаментах одинокого мужчины? Не боитесь за репутацию?! Человеческие языки злы, молву не остановишь. Ведь подмочат...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.